Я. К. ТОПОРКОВ

ЭЛЕМЕНТЫ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

«РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ»
МОСКВА — 1927

|в

ОТПЕЧАТАНО В ТИП. «ГУДОК»,
УЛИЦА СТАНКЕВИЧА, 7.
В КОЛИЧ. 2.000 ЭКЗ.
ГЛАВЛИТ № 89395.

БИБЛИОТЕКА
КОММУН. СТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ.
1751
27

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Основная трудность написания элементов диалектической логики состоит в том, что почти нет работ аналогичного рода в ныне столь обширной литературе по марксизму. Правда, сущность диалектики освещалась не раз и притом такими талантливыми марксистами, как, например, Г. В. Плеханов, однако изложению детальных вопросов, элементам диалектической логики, посвящено очень небольшое количество страниц во всей массе литературы по историческому материализму.

Поэтому необходимо здесь, в предисловии, указать, чем руководствовался автор при выборе материала и при его расположении.

Основная мысль, которая проходит через все главы настоящей работы, та, что диалектический метод теснейшим образом связан с системой. Нет нейтральной диалектики. Есть диалектика идеалистическая, и есть диалектика материалистическая. Поэтому теоремы логики Гегеля нельзя механически перенести в логику материалистическую; основные положения Гегеля необходимо самостоятельно переработать, существенным образом изменить, чтобы они могли стать согласными с методом диалектического материализма.

Диалектический материализм есть единое целостное учение, и в нем метод никак не может пониматься, как самостоятельная часть, которую можно выделить; диалектический материализм не распадается на диалектику и материализм. Поэтому, хотя главное внимание в настоящей работе сосредоточено на логических проблемах, однако всегда показывается, что проработка диалектической темы приводит к материализму, что предмет мысли и сама мысль, по существу, тождественны, но это тождество в материализме понимается иначе, чем в идеализме Гегеля.

Что касается самого изложения, то оно не могло быть не диалектическим. Излагать диалектику догматически, как

систему из определенных принципов, совершенно невозможно.

Этот диалектический подход к элементам диалектической логики сказался в двух отношениях.

Прежде всего материалистическая диалектика не есть завершенная, окончательно оформившаяся отрасль знания: она только разрабатывается. В сочинениях Маркса и Энгельса мы имеем по большей части лишь отрывки, лишь исходные рубежи для дальнейшей работы. Только в одном пункте у нас есть исчерпывающие указания: именно в тезисах Маркса о понимания им понятия даны достаточные разъяснения, как следует понимать природу и назначение понятия в материалистической диалектике. В других главах, к сожалению, мы такого богатого материала не имели под руками, приходилось самостоятельно развивать теорию, впервые ее оформлять. В этом отношении следует обратить особое внимание на теорию вывода, которая является основной для логики вообще и для диалектической логики в частности.

Учитывая современное состояние разработки диалектики, я всегда отправлялся в изложении от Гегеля. Это изложение подчеркивало основное и главное, но все же почти всегда примыкая к гегелевскому тексту. Излагать Гегеля совершенно вне его терминологии, вне всех тех специфических особенностей, которые характеризуют мышление Гегеля, представлялось нецелесообразным. Диалектика у Гегеля зрится в тумане его системы. Правда, порой эта близость к подлиннику делала изложение трудным для чтения. Но сделать Гегеля вполне легким автором, не отступая радикально от текста Гегеля, — едва ли выполнимая задача.

Остановиться на Гегеле, однако, было нельзя, материалистическая диалектика изменила не только принципы системы, но и принцип метода, поэтому гегелианские теории видоизменяются согласно многочисленным указаниям, имеющимся главным образом у Маркса и Энгельса.

Диалектическое изложение элементов диалектики обусловило также расположение материала. Может быть, следовало бы итти от непосредственной практики, потом подняться к проблеме конкретного анализа и закончить книгу главой о противоречии. Однако был принят обратный порядок. Ведь не иначе поступает и Маркс, когда начинает свою критику политической экономии в «Капитале» с теории ценности.

Нельзя итти от конкретного, никак не упорядоченного: на этом пути мы встретили бы ряд непреодолимых преград Однако и путь от самых общих принципов к конкретному делает изложение самих этих принципов затруднительным. Поэтому противоречие, например, окончательно разъясняется в главе о конкретности мысли, и первое определение противоречия носит предварительный общий характер.

Небольшой объем работы требовал весьма тщательного отношения к выбору вопросов и тем.

В современной логике обычно в центре стоит учение о суждении. В элементах диалектической логики эта глава опущена совсем, хотя вполне возможно было бы воспользоваться учением Гегеля и теми указаниями, которые делает о суждении в своей книге о «Диалектике природы» Энгельс.

Однако легко видеть, что диалектическое учение о суждении теснейшим образом связано с учением о понятии и с учением о выводе. Только после разъяснения этих основных вопросов можно перейти к учению о суждении. Суждение нельзя понимать как самостоятельный акт: в этом ошибка современной логики; реальное суждение имеет обоснование, оно не может производиться без «опосредствования».

Нет также в «Элементах» и главы о качестве и количестве. На первый взгляд это большой и существенный пропуск. Переход количества в качество характеризует диалектический метод, однако и эту главу необходимо было выпустить. Очень легко дать ряд конкретных, наглядных примеров подобного перехода, но весьма трудно осветить вопрос методологически. В его трактовке пришлось бы касаться таких проблем, как прерывность и непрерывность в современной математике и естествознании.

Вообще выявить систему категорий материалистической диалектики — задача весьма трудная и отнюдь не элементарная; трактовать же об отдельных категориях — только о качестве и количестве — было бы недиалектично: самый существенный вопрос учения о категориях есть вопрос об их взаимной связи.

Что касается самого изложения, то автор не стремился писать об элементах элементарно. В данном случае элементарное изложение может скорее затруднить, чем облегчить усвоение. В этом смысле диалектика походит на математику: чем более строго определяет основные понятия, например,

предела, непрерывности и т. д , тем легче усваиваются теоремы. Углубляя диалектические проблемы, мы приходим к их диалектическому разрешению. В то же время нужно было остерегаться сухого педантизма. Удалось ли автору соблюсти здесь нужную меру, — труднее всего судить об этом самому автору.

ПРОТИВОРЕЧИЕ.

I. Законы мышления.

Наиболее заметным образом диалектика отличается от обычных методов рассуждения тем, что она вводит, как правомерный методологический принцип, противоречие. Это наиболее бросающееся в глаза отличие диалектики: в самом деле, обычно, когда мы сталкиваемся с противоречием, при чтении ли книги или в рассуждениях чужих или даже своих собственных, мы невольно думаем, что вопрос разработан недостаточно, что есть в нем какая-то путаница и неясность. И обратно: когда мы встречаем рассуждения, вполне согласованные, когда мысли, как говорят, вытекают одна из другой, когда нет в них никакого противоречия, тогда мы невольно убеждаемся этим способом рассуждения; отсутствие противоречий служит для нас подтверждением их достоверности.

Поэтому решительное утверждение диалектики, что «противоречие двигает мир», кажется совершенно несовместимым с здравым смыслом, не говоря уже о более суровых требованиях к точности со стороны научной мысли.

Поэтому необходимо прежде всего добиться ясности в этом вопросе. Однако осветить его в достаточной полноте— довольно сложная задача. Обычно, когда хотят ответить на вопрос, что такое противоречие, — приводят три так называемых закона мысли: закон тождества, закон противоречия и закон исключенного третьего. Однако нужно признать, что формулировка этих основных законов у различных логиков различна, различен также и смысл и значение, которое им приписывают, притом различия в понимании и в оттенках понимания порой весьма тонкого рода. Полный разбор обширной литературы, сюда относящейся, завел бы нас слишком далеко.

Для первоначального ознакомления достаточно наметить самые общие очертания этих законов; в дальнейшем, с про-

движением вглубь проблемы, мы мало-по-малу уясним себе и некоторые существеннейшие различия в ее понимании и трактовке.

Обычно закону тождества дают формулировку: *А* есть *А*, треугольник есть треугольник, и этой тавтологической и потому бессмысленной формулировкой хотят сказать, что всякая мысль должна быть тождественна сама с собой, сколько бы раз она ни повторялась и в связи с какими бы мыслями она ни встречалась в нашем сознании. Различные слова выражают ту же самую мысль, различные формулы — одно и то же число, например: $5+8$, $16-3$; мы можем мыслить и судить только в том случае, если в расплывчатых, меняющихся наших представлениях мы обретем постоянный предмет мысли; наше мышление было бы невозможно, если бы, мысля понятие во второй, третий и т. д раз и в связи то с одним, то с другим понятием, мы не относились к нему, как к тому же самому понятию, т.-е. не отождествляли бы его с самим собой.

Я старался придать моим словам наибольшую общность и комбинировал в только что сказанном некоторые положения, высказанные о законе тождества наиболее популярными у нас логиками: Минто, Введенским, Зигвартом. Однако приходится признать, что эти формулировки все же глубоко недостаточны. С ними, с одной стороны, трудно не согласиться, но также трудно их и признать в целом. Они производят впечатление чего-то недосказанного; конечно, если предмет мысли меняется всякий раз, когда я к нему возвращаюсь, то мышление как будто становится невозможным. Предположим, я думаю или говорю о законе инерции. Предположим, что содержание этого закона теряет всякую устойчивость, постоянство и тождество; тогда невольно должен возникнуть вопрос, о чем, собственно, я думаю, каков предмет моих мыслей. В каком-то смысле тождество действительно является условием мышления. Но, с другой стороны, можно ли принять всецело формулу «*А* есть *А*»? Разве моя мысль, работая над одним и тем же предметом, сама не становится другой? Ведь есть прогресс в познании, есть изменения и движения в мысли; новые связи, новые отношения, в которых я рассматриваю предмет, освещают его всякий раз с новой стороны, и потому и сам предмет мысли становится новым, он

существенно меняется. Вот трудность формулировки закона тождества Я обращаю на эти трудности заранее внимание читателя, потому что в дальнейшем к ним еще придется вернуться.

Обратимся к закону противоречия. Обычно этому закону дают двоякую формулировку: *А* не есть не-*А*, или *А* не есть одновременно *В* и не-*В*. Однако обе формулировки вызывают весьма существенные возражения. Если мы примем первую формулировку, то нам будет неясно, чем по существу эта формула отличается от формулы закона тождества: «*А* есть *А*». Ведь она дает как будто то же самое содержание, только в отрицательной формуле. В самом деле, предположим, что я ошибся, применяя закон тождества; тогда моя ошибочная мысль пойдет по формуле «*А* есть не-*А*»; предположим, я заметил мою ошибку и исправил ее, тогда я скажу себе: «*А* не есть не-*А*», то-есть я вернусь к той же формуле тождества, но только путем отрицательным. Нужно заметить, что некоторые логики действительно не делают различия между законом тождества и законом противоречия; напротив, другие подчеркивают их различие.

Возьмем другую формулу: «*А* не есть одновременно *В* и не-*В*». Эта формулировка явно ошибочна и во всяком случае зависит от смысла, который я придаю понятию «не-*В*». Обычно в логике под «не-*В*» понимают все, что угодно, за исключением «*В*». Если, например, «*В*» будет обозначать «добрый», то «не-*В*» может обозначать «белый», «образованный» или даже «стул», «карандаш», — одним словом, все, что различается от термина «добрый». Но если это так, то можно смело утверждать, что всякая мысль идет по формуле «*А* есть *В* и не-*В*»: я могу сказать, не впадая ни в какие противоречия, что данный человек (имя рек) добрый (*В*) и образованный (не-*В*).

С формулами закона противоречия в различных школьных логиках обстоит далеко не благополучно: поэтому лучше всего оставить эти формулы в стороне. Само противоречие нас не может здесь не интересовать. Диалектическая логика должна выявить свою позицию по отношению к проблеме противоречия. В чем заключаются требования мысли, которые выражаются в законе противоречия?

Лучше всего мы сделаем, если, минуя современных логиков, осознаем учение о противоречии Аристотеля, который первый дал выражение этому закону. Рассмотрение взглядов Аристотеля на противоречие важно в том отношении, что оно показывает, из каких соображений, достаточно, как мы сейчас увидим, глубоких, родились эти формулировки, ныне столь опустошенные формальной логикой.

Но, чтобы покончить сначала с обычными формулами так называемых законов мышления, остановимся еще на законе исключенного третьего, который является непосредственным дополнением к закону противоречия. Обычно говорят: «*A* может быть *B* или не-*B*», т.-е. можно или утверждать или отрицать одну и ту же мысль, ничего третьего быть и не может. С высказанною мыслью я могу или согласиться или не согласиться; если я согласен с ней отчасти, то это значит, что с ней в той форме, в которой она дана, я не согласен, и в этом случае нужно договориться, в чем именно я согласен и в чем не согласен.

В обычных спорах часто можно наблюдать, что спорщики оба не правы. Если один из собеседников говорит, что занятия физкультурой вредны, а другой утверждает, что занятия физкультурой полезны, то оба собеседника могут оказаться неправыми, ибо в известных случаях занятия физкультурой действительно приносят лишь вред, а в известных случаях они полезны. Здесь действительно есть нечто третье, но закон противоречия имеет в виду иное: отрицание значит простое несогласие с данной определенно выраженной мыслью, всякие дополнения и ограничения, которые я ввожу, означают уже несогласие: ртуть упруга или не упруга, — с этим я могу согласиться или не согласиться.

Несмотря на видимую убедительность этого «закона», он вызвал не меньшее число возражений, чем закон противоречия. В самом деле, неужели логика требует, чтобы я признал непременно, что Сократ или сидит на стуле или не сидит, когда я знаю заведомо, что Сократ давно умер, и о нем невозможно сказать ни того, что он сидит, ни того, что он не сидит, раз он вообще не существует. Но самое главное, конечно, возражение против применимости закона исключенного третьего возникает тогда, когда мы имеем так называемые переходные случаи, в которых трудно отграничить

А от не-*А*: если у человека мало волос, тогда нельзя его называть лысым, но трудно сказать, что он не-лыс. На этом, как мы увидим в дальнейшем, построены аргументы Зенона против движения, с которыми нам еще придется встретиться.

II. Тождество и движение.

Закону противоречия Аристотель дает следующую формулировку: «Ничто не может одновременно и в одном и том же отношении быть и не быть» (таков смысл формулировки Аристотеля; точный перевод в настоящем случае нас не может интересовать). Этот закон Аристотель считает основным и потому недоказуемым: всякое доказательство уже предполагало бы его, как необходимое условие своей истинности. Этот закон поэтому нельзя доказать, можно лишь показать, что все, кто пытается строить какое-либо доказательство или кто стремится высказать какую-нибудь мысль, уже применяют этот закон, ибо, нарушив его, ничего нельзя высказать, ничего нельзя мыслить.

Если мы высказываем какую-нибудь мысль, то мы ее обозначаем определенными словами. В этом смысле мы уже предположили закон противоречия, так как, если мы назвали определенный предмет словом «человек», то это слово должно отличаться по своему смыслу от другого слова, от всяких других значений, от «не-человека»; если мы не станем соблюдать этого элементарного правила, тогда все будет обозначать одно и то же; любое слово может сопрягаться с любым смыслом, т.-е. все слова будут равно бессмысленны, и ничем, по существу, не будут отличаться одно от другого.

Если мы допустим нарушение закона противоречия, то тогда все утверждения будут в одинаковой степени истинными. Истинным будет утверждение, что Сократ человек, и столь же истинным будет утверждение, что он «не-человек». Ведь ложным мы называем то, что противоречит и несовместимо с тем, что мы считаем истинным, но если закон противоречия признается недействительным, тогда мы ложное должны утверждать на том же основании, что и истинное. При нарушении закона противоречия нет различия между истиной и ложью.

К тому же результату, только несколько иным путем, мы придем если будем отправляться от отрицания закона исклю-

ченного третьего: в этом случае все в одинаковой степени должно стать для нас ложным. Ведь тот, кто не считается с законом исключенного третьего, отрицает в равной мере и положение, что «*A* есть *B*», и что «*A* не есть *B*» Для него все становится ложным, и, следовательно, снова мы не получаем фундаментального различия между истиной и ложью.

Крайне любопытно, что эту аргументацию Аристотеля повторил почти дословно Гартман в своей полемике против диалектического метода Гегеля (Hartmann. «Ueber die dialectische Methode»).

Всякая критика в последнем основании своем, рассуждает Гартман, сводится к указанию и обнаружению противоречий, будут ли то противоречия с принципами или с фактами; все полагают, что, где обнаружены противоречия, там находится ошибка. Признание закона противоречия является минимумом для возможности теоретического спора. Однако диалектик считает это требование только предрассудком формальной логики.

В саморазвивающемся понятии полагается *A* столь же, как и не-*A*, т.-е. полагается противоречие; поэтому, по мнению Гегеля, все вещи противоречат себе; во всех представлениях, понятиях и идеях противоречие существенно и необходимо. Спор с диалектиками становится невозможным, ибо они отрицают самый принцип достоверности, отсутствие противоречия между мыслями и фактами.

Аргументация Аристотеля сохраняет свою силу вплоть до нашего времени. Аристотель развивает свое учение о противоречиях в полемике против учеников Гераклита, который учил, что все находится в вечном изменении и движении.

Действительно, ранняя греческая философия до Сократа являет собой пример примечательного диалектического миросозерцания. Не только у Гераклита можно видеть утверждение противоречия, как движущей силы, учение о противоположностях, которые производят всякое явление, но и у его принципиальных противников — элеатов — мы находим непревзойденные образцы диалектики, показывающей, что всякое движение таит в себе противоречие. В этом смысле справедливо считают образцовыми так называемые софизмы или апории (затруднения) Зенона Элейского.

Аргументы Зенона софизмами могут быть признаны только с большими оговорками. Нужно признать, что сами эти аргументы никем еще не были опровергнуты, софистичным является лишь вывод, который делал Зенон. Его заключение гласит, что раз движение противоречиво, то оно не может существовать в действительности, в подлинной мере, что, следовательно, бытие неподвижно.

Летящая стрела в каждый данный миг находится в каком-нибудь определенном месте *А* или в каком-либо другом месте, ибо нигде она находиться не может, говорил Зенон и отсюда заключал, что стрела не двигается ни в первом случае, ни во втором случае и, следовательно, нельзя вообще мыслить стрелу двигающейся.

Это рассуждение весьма наглядно показывает, что про летящую стрелу вообще нельзя сказать, что она находится в данном определенном месте, в точке *А*; стрела *летит*, следовательно, она находится в данном месте и не находится, движение стрелы своим собственным движением отменяет закон противоречия и закон исключенного третьего.

Эти аргументы Зенона до настоящего времени являются неопровергнутыми. В современной логике и математике снова обсуждаются те же проблемы, которые интересовали Зенона, и решения, к которым приходят современные логики, весьма близки к «софизмам» этого античного диалектика.

Только формулировка изменилась, суть же осталась прежняя. Энергия мысли Аристотеля направлена на то, чтобы сочетать возможность мыслить движение и в то же время мыслить его в определенных, не расплывчатых понятиях, т.-е. *сочетать движение мысли с определенностью мысли.*

Нас здесь не могут интересовать решения, которые предлагал Аристотель: я хотел только, ссылаясь на его рассуждения, показать возникновение основной проблемы диалектики и в то же время указать, откуда возникли популярные формулы так называемых законов мышления.

Эта полемика Аристотеля против учеников Гераклита любопытна не только потому, что она рисует возникновение первых формулировок логики; эта полемика приобретает особый смысл в связи с мыслями Энгельса, высказанными в введении к «Анти-Дюрингу».

Энгельс говорит, что для теоретической мысли, с первых шагов ее пробуждения, действительность должна была давать картину «бесконечного сплетения соединений и взаимодействий, в котором ничто не сохраняет своего первоначального характера, места и положения, но все движется, изменяется, возникает и исчезает. Первоначальное, по существу правильное, воззрение на мир мы имеем в древне-греческой философии; так у Гераклита мы находим учение о вечном течении всего сущего, все существует и в то же время не существует, все находится в вечном изменении, возникновении и исчезновении, уничтожении. Но это воззрение, хотя и охватывает общий характер всей картины явлений, было недостаточным. Оно не давало ясной картины, оно не было в состоянии объяснить отдельных частностей, не было достаточной глубокой проникновенности в предмет анализа явлений».

Критика этого первоначального наивного материализма древне-греческой мысли у Энгельса весьма примечательна и в то же время она обрисовывает положительные задачи материалистической диалектики. «Чтобы познать эти частности,—пишет Энгельс,—мы должны извлечь их из естественной или исторической связи и исследовать каждую порознь, в их свойствах, в их специальных причинах и следствиях».

Положительная наука могла дать прочные результаты только после анализа и расчленения пестрой и изменчивой картины мира. «Разложение природы на ее составные элементы, выделение различных естественных явлений и предметов в определенные классы, внутреннее исследование органических тел в их разнообразных анатомических формах,—все это было основным условием того гигантского прогресса, который принесли последние четыре столетия в деле изучения природы».

Однако этот прогресс был в то же время и регрессом, аналитическая мысль потеряла связь с целым, первоначальное наивное, некритическое, но, по существу, верное воззрение было утрачено.

«Метод исследования породил специфическую ограниченность последних столетий, м е т а ф и з и ч е с к и й о б р а з м ы ш л е н и я» (курсив мой).

Задачи научной диалектики таким образом состоят в том, чтобы продукты анализа брать не и в их изолированном, оторванном виде, а понимать как моменты единого, по существу, процесса становления, или, как говорит Энгельс, «необходимо преодолеть завещанную нам привычку рассматривать явления в их обособленности, вне великой общей их связи, не в их движении, но в покое, не как по существу изменяющиеся, но как неизменные, не в процессе их жизни, но в состоянии их смерти».

Мы видели выше, что законы тождества, противоречия и исключенного третьего возникают именно как общие требования мысли добиться ясности и определенности; без соблюдения закона противоречия, говорит Аристотель, возникает путаница в мыслях и в понятиях, все сливается в одно; нельзя установить точных существенных различий. Но это требование уже у Аристотеля приходит в столкновение с учением Гераклита, согласно которому все течет, все изменяется, и ничто не пребывает.

Возникает задача согласовать оба эти требования, одинаково реальные; эта задача впервые была решена в отчетливом виде Гегелем в его логике.

III. Учение Гегеля о противоречии.

Гегель подверг суровой критике формальное понимание тождества, или «отвлеченное тождество», как он его называет. Тождество формальной логикой не ставится ни в какую связь с различием. Подобная логика рассматривает разум, как ткацкий станок, на котором основа — тождество и уток — различие внешним образом соединяются и сплетаются между собой. Формальная логика при каждом новом анализе выделяет сначала тождество, а затем оставляет рядом с ним различие; формальная логика отождествляет вещи, поскольку она отвлекается от различия, и различает вещи, поскольку отвлекается от тождества. С этой точки зрения одинаково справедливо утверждение: все тождественно и все различно. Совершенно нельзя найти двух вещей, которые бы не различались в каком-нибудь отношении и опять-таки не могли бы быть отождествляемы в каком-нибудь другом отношении. Формальная мысль остается при этих отдельных несвязанных между собой отношениях, она

утверждает их вне связи их между собой, эти отношения в формальной логике являются изолированными, на самом же деле одно полагание мысли невозможно без другого, установление одного отношения включает установление другого, должна быть связь в мыслях, должна быть законообразность мышления, вот на чем настаивает Гегель. Эту связь мыслей, эту законообразность Гегель не обретает в формальной логике, поэтому формальная логика лишь претендует установить законы мышления, но на самом деле самим своим принципом их уничтожает, ибо там, где нет установления связи, там не может быть и установления законообразностей. Формальная логика таким образом сама себе противоречит.

Таковы наиболее общие соображения Гегеля против формальной логики. У него же мы находим и более детальную критику формулировки отвлеченного тождества. Обычное утверждение гласит: «*А* есть *А*», но это, как справедливо указывает Гегель, есть выражение пустого тождесловия (тавтологии). Когда на вопрос, что такое растение, мы получаем ответ, что растение есть растение, то, конечно, мы с этим согласимся, но вместе с тем заявим, что тем самым не говорится ничего. «Если кто-нибудь, — пишет Гегель, — открывает рот и, обещая изложить, что такое бог, скажет, что «бог есть бог», то общее ожидание обманывается, так как оно было направлено к различному определению; и если это предложение объявляется абсолютной истиной, то такая речь об абсолютном ценится весьма низко.

Ничто не считается более скучным и несносным, чем речь, пережевывающая одно и то же, когда ее выдают за речь, долженствующую быть истинною».

В каждом суждении, имеющем какой-либо смысл и значение, мы нарушаем подобную формулу тождества, в осмысленной речи мы не говорим «*А* есть *А*», мы говорим «*А* есть *Б*», например, «математика есть наука», «человек — двуногое животное» и проч., нигде мы не остаемся при одной тавтологии.

«Форма любого предложения заключает в себе более, чем простое, отвлеченное тождество».

На самом деле тождество совершенно немыслимо без различия. Тождество и различие связаны между собою не-

расторжимо, без тождества нет различия, без различия нет тождества. Поэтому Гегель настаивает на единстве тождества и различия

Положительное учение Гегеля о тождестве сразу вводит нас в русло диалектической мысли. Самой оригинальной чертой этого учения и в то же время чертой наиболее характерной является утверждение Гегеля, что тождество может быть понято только как процесс. Тождество является необходимым моментом в развитии мысли. Если мы станем на эту точку зрения, то нам станет ясно, почему тождество, по Гегелю, не может быть мыслимо без различия и почему без противоречия нельзя мыслить. В самом деле, если мы будем рассматривать мышление как живой процесс, то тем самым окажется ясным, что никакое содержание мысли не может быть тождественным с самим собой, что всякое содержание мысли изменяется в процессе мышления, что наша мысль развивается, и в этом развитии ее содержание становится иным. Или, как говорит Гегель, «отрицание каждой определенности так же необходимо, как и она сама». Подобная фраза может смутить, может казаться, что этим вводится самая нелепая софистика. На самом деле этой формулировкой Гегель хочет утвердить два положения: 1) наша мысль должна содержать в себе определенность, быть определенной мыслью, без этого наше мышление станет хаотичным, следовательно, наше мышление должно содержать в себе момент тождества, как требование определенности в мышлении; 2) в то же время никогда никакое содержание, никакая конкретная мысль не может получить окончательную, вполне законченную определенность; продумывая нашу мысль до конца, мы на место одной определенности ставим другую определенность, мы уточняем наш вывод, мы видим нашу неточность, нашу ошибку, мы приходим к новому выводу, этот новый вывод складывается в процессе самой работы мысли над этим же самым содержанием. В положении Гегеля нет никакой софистики, в нем лишь высказано требование большей определенности[1]). Каждое содержание

[1]) Это видели даже представители формальной логики Совершенно правильно говорит Ибервег, что смысл законов мышления сводится к тому, чтобы мы на всякий определенный вопрос давали определенный ответ.

не тождественно с самим собой: оно подлежит дальнейшему углубленному и уточняющему анализу. Тождество, как путь к определенности, никогда не может быть законченным.

Тождество поэтому есть процесс различения и установления различий. Тождество невозможно без различия. Выражаясь на вычурном языке Гегеля, «тождество есть отталкивание себя от самого себя».

Тождество таким образом, рассматриваемое с диалектической точки зрения, является необходимым моментом в процессе мысли, моментом различения. Различение предполагает, что некоторое содержание *А* становится определенным благодаря тому, что выделяется из того, что не есть *А*. Только этим путем различения *А* от не-*А* можно сделать определенным содержание мысли; минимуму различения будет соответствовать минимум определенности, и обратно — максимуму определенности будет соответствовать максимальная различенность. Это может быть уяснено на примерах как самых общих научных понятий, так и наиболее элементарных процессов восприятия и даже ощущения. Предположим, вы находитесь в комнате, где мало-по-малу меркнет свет, предметы окружающей обстановки теряют определенность своих очертаний и, наконец, сливаются с наступающим мраком. Если выразить этот процесс в терминах логики, то придется сказать, что известное *А*, переставая быть определенностью, сливается с не-*А*. Возьмем обратный случай: пусть в той же комнате будет постепенно становиться светлей, вы станете различать окружающие вас вещи, для вас возникнет ряд определенностей, стол, стул и проч.; здесь определенное содержание восприятия становится таковым благодаря наступившей возможности различать предметы. Еще лучше ту же диалектику можно видеть на развитии любого закона естествознания. Дюгем в своей книге «Физическая теория, ее цель и строение» приводит один весьма любопытный пример. Закон сжимаемости газов, установленный Мариоттом, был вполне применим, ибо этот закон выражал факты опыта с отклонениями меньшими, чем возможные ошибки методов наблюдения, бывших тогда в распоряжении у ученых. Когда Реньо улучшил аппараты и экспериментальные методы, закон Мариотта пришлось отвергнуть: отклонения, которыми отличались его показания от результатов наблюдения, были гораздо больше,

чем та степень неточности, которая была присуща новым аппаратам. Весьма любопытно, что Реньо, ставя себе целью в своей работе заменить закон Мариотта формулой более точной, во время своих опытов пользовался формулой Мариотта [1]). Таким образом новый закон утверждается на место старого, как его уточнение, в него вносятся поправки, делающие его гораздо более точным и, следовательно, более определенным; научный прогресс и состоит в этом движении и развитии мысли от одной определенности к другой.

В учении о тождестве Гегель имеет в качестве своего предшественника Спинозу, который говорил, что всякое определение есть отрицание, т.-е. определять предмет можно только в том случае, если видеть, чем этот предмет различается от других. Собственно говоря, даже стереотипное правило формальной логики о том, как следует определять понятия, в скрытой форме подразумевает закон диалектического тождества; в самом деле, это правило гласит: определение совершается через указание ближайшего рода и специфического отличия, следовательно, для правильного определения понятия я должен знать, чем о т л и ч а е т с я данное понятие от всех других смежных понятий, входящих в один и тот же род.

Наибольшей оригинальностью и глубиной отличается учение Гегеля о различии. Различие бывает двух родов: 1) непосредственное различие или «разность», так говорит Гегель, и 2) различие определенное. Последнее понятие является характерным для диалектической логики, формальная логика его не знает.

Что касается непосредственного различия, то это понятие не может вызвать затруднений. Мы имеем дело с непосредственным различием, когда, например, констатируем две различные вещи, когда усматриваем различия в двух научных теориях и проч. Непосредственное различие можно выразить в формуле, или, вернее, в общем законе: «все различно»; действительно, нет двух вещей абсолютно между собой тожде-

[1]) Во время своих опытов Реньо нужно было узнать атмосферное давление на высоте свободной поверхности ртути в его манометре; это давление он пробовал определить по формуле Лапласа, в основе которой лежит закон Мариотта.

ственных, все вещи отличаются между собой не только количественно, но и качественно.

Благодаря непосредственному различию для нашего рассмотрения вещи, различаясь между собою, распадаются на необозримое множество; единство их потеряно из виду, это множество различных вещей ничем не объединено, мы имеем перед собой бесконечно дробящийся пестрый многоцветный мир, и поскольку мы поглощены этим качественным множеством, мы не можем усмотреть единство этих разнствующих между собою предметов.

Если какое-либо единство и достигается, то это делается путем создания отвлеченных понятий, так, рассматривая качественно различных отдельных людей, мы образуем общее понятие «человек» на основании общих сходств и общих черт, которые имеют между собой определенные лица Такова практика сравнительных наук, из которых Гегель особенно выдвигает сравнительную анатомию и сравнительное естествознание. Но как бы ни были значительны результаты, достигнутые на этом пути, совершенно ясно, что объединение подобного рода все же остается внешним для самих сравниваемых предметов: ведь это собственно всегда зависит от нас, с какой точки зрения мы будем сравнивать предметы, таких точек зрения может быть очень много, и в зависимости от них по-различному будут группироваться сравниваемые нами предметы.

На ряду с этим внешним объединением мы не должны упускать из виду, что существует единство совершенно иного рода; это единство объективное и лежит в основе всякой монистической философии Непосредственного различия далеко не достаточно для действительного познания мира. Поэтому Гегель, на ряду с непосредственным различием и вслед за ним, ставит понятие определенного различия, которое дает возможность усмотреть единство совершенно особого рода.

Гегель в своей дедукции этого понятия показывает, что множество различных вещей не может существовать без единства, самые различные предметы, различаясь в каком-либо отношении, самым своим различием указывают на единство. Положим, я вижу двух людей, я их различаю, они для меня различны, но почему я это утверждаю? Потому, что эти люди находятся в различных местах, обладают различным

ростом, различным цветом глаз, волос и т. д, но все эти различия указывают на весьма определенное единство: оба они находятся в пространстве, оба они имеют известный рост, имеют глаза, имеют волосы и т. д Следовательно, в том самом, в чем они различаются, в том самом они и тождественны. Так непосредственное различие, разность, переходит в различие определенное, или существенное, по терминологии Гегеля.

Трудно с первого взгляда усмотреть значение и смысл этого вывода, однако у Гегеля этот вывод имеет большое значение, ибо у него определенное различие переходит в противоположность.

Переход в противоположность, как известно, играет очень большую роль в диалектике; можно сказать, что диалектическое развитие тем и отличается от различных эволюционных теорий, что последние не знают и не признают перехода в противоположность. С точки зрения обычной теории жолудь потенциально содержит в себе все то, что дает дальнейшее его развитие вплоть до образования могучего столетнего дуба: развивается то, что так или иначе дано, предзаложено, уже имеется хотя бы в зачаточном виде; можно развивать музыкальные способности у ученика только тогда, когда они имеются, можно развивать промышленность страны, но это будет развитием уже имеющейся промышленности. Эволюционные теории признают, что образуется в конце-концов новое, но они подчеркивают в этом новом то, что его роднит и сближает со старым, поэтому эволюционные теории, несмотря на кажущуюся их прогрессивность, на самом деле оказываются консервативными [1]). Диалектическое понимание развития, напротив, подчеркивает в развитии новое в противоположность старому; это новое как в природе, так и в обществе борется со старым, находится с ним в антагонистических отношениях, и когда новое торжествует над старым, мы имеем пример перехода в полную противоположность. Всякая революция, рассматриваемая с логической

---

[1]) Наиболее показательным примером может служить реформистский социализм в Западной Европе, который является наиболее консервативной общественной силой, гораздо более вредной, с точки зрения интересов революции, чем старые консервативные партии.

точки зрения, являет такой пример перехода в полную противоположность. Мы видим таким образом, что это понятие имеет чрезвычайно большое значение; оно является одним из основных элементов диалектического метода.

Чтобы представить яснее, в чем именно здесь существенное различие диалектической логики от формальной, вернемся к началу учения Гегеля о тождестве. Как мы видели, тождество невозможно без различия: всякое *А* становится определенным благодаря различию этого *А* от всего, что не есть *А*. Только путем отрицания мы имеем утверждение и, обратно, всякое утверждение включает в себя отрицание.

Формальная логика знает также отрицание, в одной только форме неопределенного отрицания. С точки зрения формальной логики не-*А* может обозначать все, что угодно, за исключением *А*. Признавая только этот вид отрицания, формальная логика расходится не только с диалектикой, но и с здравым смыслом. Совершенно правильно говорит Минто («Дедуктивная и индуктивная логика», стр. 45): «В обыкновенной речи отрицать у какого-либо предмета то или другое свойство значит тем самым скрыто приписывать ему то или иное свойство такого же рода. Положим, кто-нибудь говорит мне: улицы такого-то города не вымощены деревом, — я сразу заключаю, что они вымощены каким-либо другим материалом, и такое заключение является вполне законным и естественным выводом из этого отрицательного суждения. Логика не может принимать в соображение подобных молчаливых допущений. В логике отрицать какое-либо качество значит просто утверждать, что оно не принадлежит данному предмету, отрицание только устраняет, уничтожает, но не позволяет ничего подразумевать. Не-*А* есть нечто совершенно неопределенное: оно может заключать в себе все, что угодно, кроме *А*».

Из этого вытекает одно чрезвычайно важное следствие: пусть у нас будет ряд различных предметов *А, В, С;* каждый из них, различаясь от других, является в то же время отрицательным по отношению к другим. *В* есть в то же время не-*А*; *С* является в то же время не-*А* и не-*В*. Мы видим, что формальная логика не ставит ни в какую связь тождество и различие, *А* и не-*А*, они совершенно друг с другом не связаны, и поэтому нет никакого перехода от одного к другому, от *А*

к *B*, от *B* к *C*, все они являются только «отрицательными» по отношению друг к другу. Логика диалектическая, напротив, настаивает на связи и взаимной обусловленности моментов единого по существу процесса мысли, поэтому она утверждает, что есть переход от одного понятия к другому понятию, и этот переход не случаен и не произволен, а закономерен. Как известно, Маркс, анализируя капиталистический способ производства и распределения, устанавливает путем анализа также и тенденции развития капиталистического общества и переход его в социализм, т.-е., говоря в терминах логики, утверждает, что от *A* возможен переход к *B*. Формальная логика еще могла бы допустить, что за пределами определенного понятия *A* (в данном случае капитализма) есть некоторый возможный иной строй общества, но это иное, это не-*A*, формальная логика могла бы характеризовать только отрицательными чертами, а у Маркса социализм характеризуется не только путем противопоставления капитализму и является, следовательно, не только термином отрицательным, но в то же время есть нечто положительно определенное.

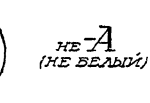
Спрашивается: каким же образом совершается этот переход?

Мы уже знаем, что у Гегеля непосредственное различие переходит в различие определенное, и в соответствии с этим Гегель знает не только неопределенное отрицание формальной логики, но и отрицание определенное. Различающиеся вещи, как мы видели выше, тождественны в том, в чем они различаются; этим тождеством отрицание замыкается, оно не может теперь представлять все, что угодно, за исключением *A*: оно, как говорит Гегель, является противоположностью *A*, т.-е. оно столь же положительно, как и само утверждение. В самом деле, легко показать, что если действительно *A* и не-*A* имеют нечто общее (то, в чем они различаются), то оба они относятся к одному и тому же роду и являются крайними видами одного и того же понятия. Раз это так, то, следовательно, мы имеем здесь отношение противоположности (contraria), как выражается формальная логика.

С этой точки зрения совершенно по-новому освещаются традиционные логические учения. Формальная логика раз-

личает: 1) понятия противоречащие (*А* и не-*А*, белый и не белый, и 2) понятия противоположные (белый и черный). В то время как первые, с точки зрения формальной логики, не имеют никакой положительной связи между собою, вторые (противоположные) имеют при всем своем различии нечто общее: они являются крайними видами одного и того же рода. Понятия противоположные являют всегда контраст — добро и зло, трусость и храбрость — и, являясь отрицательными друг к другу (ведь белое—не черное и черное—не белое), в то же время оба положительны, ибо черный цвет столь же положителен, как и белый цвет. Гегель показывает, что понятия противоречащие должны перейти в понятия противоположные, ибо утверждение и отрицание непосредственно связаны между собой и друг без друга существовать не могут, что различающиеся должны различаться в чем-либо, и это последнее является общим для них моментом.







Легко видеть, что всякий процесс, всякое изменение и развитие, если они протекают закономерно, должны также включать в себя противоречие и противоположности. Вещь из маленькой становится большой, из покоящейся она становится движущейся и т. д.

Всякое изменение протекает в противоположностях и потому то, что Гегель изображал только как движение категорий, в равной мере должно быть относимо ко всякому реальному процессу становления.

Если нечто становится иным, то в моменты перехода мы будем иметь противоречие, когда *А* становится не-*А*, и в то же время противоположность, ибо закономерное изменение требует перехода определенного *А* в не менее определенное не-*А*, т.-е. в *В*: изменения нельзя мыслить закономерно, если любое *А* может перейти в любое не-*А*.

Доказав эти положения, Гегель всю энергию своей мысли сосредоточивает на самом моменте перехода. Этот переход есть противоречие и не может быть ничем иным; это противоречие ничуть не вносит путаницы в наши мысли и не препятствует определенности мышления, напротив, как раз требование все большей определенности и точности мышления заставляет нас перейти от одного определения к другому,

не позволяя успокоиться на раз достигнутом. Диалектическое противоречие не смешивает понятия, а строго их различает, но в этом различении понятия не только отмежевываются друг от друга, но и связываются. Этот последний момент как раз и опускает формальная логика.

Однако противоречие не только должно быть положено, оно должно быть и снято. При одном противоречии остаться нельзя, иначе нельзя двигаться вперед. Движение мысли не имело бы положительного результата. Диалектика, по мысли Гегеля, вовсе не совпадает со скепсисом, напротив, «удержать в результате положительное, — говорит Гегель — вот что есть главнейшее в разумном познании».

Вовсе нельзя думать, что Гегель отрицает закон противоречия: он утверждал, что, хотя противоречие возникает необходимо, но его следует всегда преодолеть, разрешить в высшем единстве. Гегель возражал лишь против неправильного понимания противоречия. То, что действительно отрицал Гегель, — это закон исключенного третьего.

К этому отрицанию он пришел всем ходом своего рассуждения.

В самом деле, мы видели, что *А* есть в то же время не-*А*; *А* и не-*А* имеют нечто общее, то, в чем они взаимно друг в друга переходят. Назовем эту точку перехода *С*. В этой точке мы имеем противоречие, но это противоречие в то же время снимается, ибо в этой точке, строго говоря, исчезает как *А*, так и не-*А*. *С* не есть *А* и не-*А*, а нечто третье — момент перехода. Этот момент единства тождества и различия Гегель назвал основанием: в основании «схоронены», сняты противоположности. Противоречие нашло свое разрешение в высшем понятии, в синтезе тождества и различия

Учение Гегеля об основании крайне любопытно; здесь встречаются и взаимно определяют собой система и метод Гегеля. Из формальной логики мы знаем этот закон, но там он обычно не получает четкого выражения. Чтобы понять сущность закона основания, мы должны вкратце вспомнить аргументы того мыслителя, который его впервые формулировал, — Лейбница.

На первый взгляд у Лейбница неясно, зачем он вводит закон основания. Свою мысль он формулирует различно, но

обычно цитируют одно место из «Теодицеи» (§ 44), как наиболее характерное: «Есть два начала наших рассуждений: первое есть начало противоречия, которое требует, чтобы из двух противоречивых предложений одно было бы истинным, а другое — ложным. Другое есть начало достаточного основания, гласящее, что никогда ничего не случается без причины или, по крайней мере, без достаточного основания» В этой формулировке совершенно непонятно, чем закон основания различается от закона противоречия.

Ведь противоречие является основанием, почему я признаю данное утверждение ложным или истинным. Однако неудачная формулировка Лейбница не должна затемнять основную мысль и цель его рассуждений. Для Лейбница закон основания давал возможность преодолеть спинозизм, который признавал одну лишь необходимость. Лейбниц, вводя закон основания, стремился обосновать свободу и творчество, отвергнутое Спинозой.

Для того, чтобы показать недостаточность рассуждения геометрической необходимостью; все вещи и их отношения Спиноза готов был вывести по принципу противоречия из бесконечной субстанции.

Для того, чтобы показать недостаточность рассуждения Спинозы, Лейбниц указывает границы закона противоречия В основе действительности лежит некий божественный план, некоторое понятие, которое определяет бытие и небытие существующего. Этот замысел, это понятие раскрывается в целесообразности вселенной; таким образом необходимость есть лишь инструмент и средство высшей мудрости. Мир есть творение бога, не только следствие его.

Гегель заимствует свое учение у Лейбница, он также полагает, что тождество и противоречие могут быть поняты из основания. То общее, что обнимает и содержит в себе противоположности, как «*А*», так и «не-*А*», является основанием в том самом смысле, в каком мы говорим, что общий закон есть основание для объяснений частных явлений. Все различия произведены неким единым понятием, лежащим в их основе. Сводя противоречие к основанию, Гегель дает логической теории идеалистическое истолкование. Основание есть один из обликов мировой идеи, основание у Гегеля ведет к признанию понятия, как целостного творческого нача-

ла. Таким образом здесь метод и система Гегеля спаяны теснейшим образом.

Совершенно очевидно, что закон основания, как его формулирует и понимает Гегель, не может быть удержан материалистической диалектикой. Основанием здесь может служить лишь сама действительность, которая, как непрерывный поток, несет в себе и тождество и различие

В этом смысле очень интересны некоторые соображения Карла Маркса, которые могут быть сюда привлечены для освещения этого трудного и малоосвещенного в литературе вопроса. В «Нищете философии» Маркс, разбирая воззрения Прудона, полемизирует, вместе с тем, против Гегеля, именно против идеалистического истолкования им закона основания.

Маркс показывает, что Прудон извращенно понял метод Гегеля, но в достаточной мере заимствует у него систему. «По мнению Гегеля, — говорит Маркс (глава II, § I, замечание 1-е),—все, что происходило, и все, что происходит еще в мире, тождественно с тем, что происходит в его собственном мышлении. И таким образом философия истории оказывается лишь историей философии и притом его собственной философией. Нет более истории, соответствующей порядку времени, существует лишь последовательность идей в разуме».

Прудон следует этой гегелианской погудке: история ему представляется не нечестивой мирской историей — историей людей, а священной историей — историей идей.

Благодаря такой философской установке реальные экономические противоречия разрешаются в идеальной системе экономических категорий. Следовательно, нужно лишь постичь, как в этой системе примиряются противоречия, чтобы найти исцеление для всех существующих реальных противоречий.

Прудон ищет формул и не замечает действительного движения. Таким образом «на место великого исторического движения, рождающегося из столкновения между уже достигнутыми производительными силами людей и общественными их отношениями, которые уже не соответствуют этим производительным силам, на место страшных войн, которые готовятся между различными классами одной нации и между различными нациями, на место практической деятельности

масс, на место насилия, которое одно лишь может разрешить эти столкновения, — на место этого обширного и сложного движения Прудон ставит причудливые движения своей головы».

Эта цитата с полной отчетливостью показывает, что основание, которое у Гегеля переходит в понятие и идею, материалист-диалектик может искать в самой реальной действительности, что противоречие разрешается не идеально, не в мыслях, не формулой, а подлинным движением, которое есть постоянный переход от *А* к не-*А*. Единство процесса, а не единство идей — вот что является последним основанием всего существующего с материалистической точки зрения.

IV. Противоречие в материалистической диалектике.

Учение Гегеля о противоречии в существенном удерживается в диалектическом материализме. Однако необходимо указать и основные различия в понимании противоречий в материализме. На это различие не раз обращают внимание и Маркс, и Энгельс, и Плеханов, мысли которых по данному вопросу весьма близки.

«Нельзя, — пишет Энгельс в «Диалектике в природе», — оставаться на неизменном противоположении тождества и различия, анализ показывает наличие одного полюса уже in nuce (в зародыше) в другом, в определенном пункте один полюс переходит в другой, и вся логика развивается лишь из этих движущихся вперед противоположностей». «Но,— прибавляет он, — у самого Гегеля это выражено мистично — каждая категория у него является чем-то предсуществующим, а диалектика реального мира — ее простым отблеском».

В действительности же происходит обратное: диалектика головы — только определенная форма движения реального мира как природы, так и истории. Противоречия действительности порождают требования мыслить диалектически. На разногласии этого положения достаточно подробно останавливается Энгельс в «Анти-Дюринге», в главе о диалектике.

По мнению Дюринга, противоречие — категория, которая может принадлежать только мысленной комбинации, но никак не действительности. «В самых вещах нет противо-

речия или, другими словами, противоречие, представляемое реальным, становится апогеем бессмыслицы. Антагонизм сил, которые меряются друг с другом в противоположном направлении, является даже основной формой всех действий в существовании мира и обитающих в нем существ. Этот антагонизм сил в элементах и индивидуумах, однако, далеко не совпадает с идеей нелепого противоречия».

Против этого положения Дюринга Энгельс возражает, что противоречие тотчас же обнаруживается, как только мы начинаем рассматривать вещи в их движении, в их изменяемости, в их жизни, в их взаимном воздействии одной на другую.

Движение само по себе есть противоречие; уже простое механическое движение в пространстве может совершаться лишь так, чтобы данное тело в один и тот же момент времени было в одном месте и в то же время в другом, чтобы оно находилось в данном месте и не находилось в нем. Движение и состоит в том, что это противоречие постоянно становится и одновременно разрешается. На разборе аргументов Зенона против движения мы видели, что это действительно так.

Если простое механическое движение в пространстве содержит в себе противоречие, то в еще большей степени противоречия налицо в высших формах движении материи, в особенности в органической жизни и ее развитии. Жизнь прежде всего состоит в том, что данное существо в определенный данный момент представляется тем же и чем-то иным. Поэтому «жизнь есть существующее в самых вещах и явлениях, вечно создающееся и разрешающееся противоречия налицо в высших формах движения мате- прекращается и жизнь, наступает смерть».

В одном из отрывков в «Диалектике природы» Энгельс дал весьма сгущенное выражение своему материалистическому пониманию противоречия. «Так называемая об'ективная диалектика царит во всей природе, а так называемая суб'ективная диалектика, диалектическое мышление есть только отражение господствующего во всей природе движения путем противоположностей, которые и обусловливают жизнь природы своими постоянными противоречиями и своим конечным переходом друг в друга, либо в высшие

формы». Эти мысли Энгельса повторяет и Плеханов в своем известном предисловии к переводу книги Энгельса «Людвиг Фейербах»: «В основе нашей диалектики лежит материалистическое понимание природы, она на нем держится; она пала бы, если бы суждено было пасть материализму.. У Гегеля ход вещей определяется ходом идей. У нас ход идей определяется ходом вещей, ход мыслей — ходом жизни».

Поэтому Плеханов для подтверждения диалектической формулы «да—нет—да» указывает на основу всех явлений природы—движение материи и показывает, что это движение никак не может быть понято так называемыми законами мышления, которые выставляет формальная мысль (*А* есть *А* и проч.).

Если иметь в виду это основное различие между диалектикой Гегеля и диалектическим материализмом и вытекающие из него последствия в остальном, то нет существенного различия между пониманием противоречия, как оно формулировано Гегелем, и тем, которое мы находим у Энгельса. Напротив, мы видим, что Энгельс берет под свою защиту даже терминологию Гегеля. В особенности это видно на защите понятия отрицания отрицания, которую Энгельс развивает в «Анти-Дюринге» По мнению Дюринга, это понятие может скорее затемнить вопрос, чем его разъяснить. «Первое отрицание у Гегеля является взятым из катехизиса понятием о грехопадении, а второе есть понятие, ведущее к искуплению высшего единства. Логика фактов не может основать бытие на такой аналогии, взятой из религиозной области».

Против этих возражений Дюринга Энгельс приводит следующие соображения: «Отрицание отрицания очень простая, ежедневно совершающаяся процедура, которую может понять всякий ребенок». Затем у Энгельса следует ряд примеров, заимствованных из разных областей, из биологии, геологии, математики, истории. Если мы возьмем ячменное зерно, размолем его, сделаем из муки хлеб, съедим его, то в этой серии фактов мы затруднимся, к чему приложить термины «отрицание» и «отрицание отрицания». С'есть ячменное зерно не значит его отрицать, но если ячменное зерно найдет нормальные для себя условия, если оно попадет на благоприятную для себя почву, то под влиянием

теплоты и влажности с ним произойдет изменение, оно даст росток; зерно, как таковое, отрицается, на место его появляется выросшее из него растение, отрицание зерна. Это растение растет, цветет, оплодотворяется и, наконец, производит вновь ячменное зерно, и, как только последнее созреет, стебель отмирает, отрицается в свою очередь.

Как результат этого отрицания отрицания, мы имеем первоначальное ячменное зерно, но не одно, а сам-десять, сам-двадцать, сам-тридцать.

Этот весьма популярный пример, вызвавший целую литературу, показывает, что такое отрицание отрицания.

Отрицание отрицания есть весьма общий, а потому весьма широко действующий закон развития природы, истории и мышления. Действительно, законообразие развития, если мы попытаемся его логически продумать, будет заключать в себе отрицание отрицания. Развитие есть изменение, следовательно, в развитии определенное *А* переходит в некоторое не-*А*. Под не-*А*, как мы видели, можно понимать все, что угодно, любое «нечто» за исключением *А*. Очевидно, развития при таком понимании не-*А* никак не получим: при развитии одно состояние не переходит в любые другие состояния, а в состояние весьма определенное; развитие совершается закономерно, следовательно, если мы имеем нормальный круговорот жизни, то не-*А* должно стать из неопределенного определенным. Из ростка ячменя вырастет определенный стебель, который даст вполне определенное зерно; из ячменя не вырастет рожь. В развитии на ряду с изменением должно быть и тождество, только в этом случае мы имеем развитие. Отрицание, следовательно, приходится в свою очередь отрицать, в развитии мы не имеем серии фактов, которые между собой ничем не связаны, но такую серию фактов, которые определены определенным законом, поэтому определенное отрицание выражает самый общий закон развития.

Энгельс правильно указывает, что обычно под пониманием отрицания понимается нечто совсем другое, а отнюдь не закон развития. Если я скажу: «роза есть роза», то я буду иметь определенное положение; если я буду отрицать это положение, то должен сказать: «роза не есть роза»; если сно-

ва буду отрицать это положение, то вновь получу «роза есть роза». В этом случае, как легко видеть, никакого развития не получается.

Поэтому Энгельс говорит: «В диалектике отрицать не значит просто сказать «нет» или объявить вещь несуществующей и уничтожить ее по произволу. Отрицание имеет и положительный момент: всякое определение есть в известной мере отрицание, различение определенного понятия от всяких других понятий, без этого определение не может быть дано». «Поэтому должно быть,—пишет Энгельс,—совершенно ясным, что при таком отрицании отрицания, которое состоит в детском занятии попеременно ставить *A*, а затем его оспаривать, или попеременно утверждать о розе, что она есть роза и что она не есть роза, что при таком занятии не выясняется ничего, кроме глупости того, кто предпринимает подобную скучную процедуру».

Теперь мы можем однозначно решить вопрос, поставленный еще в античной философии. Как мы видели, сущность вопроса состояла в следующем: наше познание не может развиваться без определенных, хорошо отграниченных друг от друга понятий, без анализа, отсюда возникает тождество, как требование определенных, хорошо различенных понятий; с другой стороны, наша мысль, поскольку она направляется на реальное, должна признавать становление, смену вещей. Необходимо примирить эти противоречивые и противоположные требования. Диалектическая логика, утверждая тождество как момент различения, как момент конкретного процесса мысли, утверждает определенность понятия и в то же время по существу своей диалектической природы соответствует объективной диалектике природы.

ПОНЯТИЕ

Наука, рассматриваемая с формальной стороны, представляет собою систему понятий. Вопрос о том, какова познавательная ценность понятий и как понятия образуются, занимал философскую мысль с времен Сократа; различные философские школы дают самые различные ответы на этот вопрос. Мы рассмотрим здесь только типические учения.

I. Учение о понятии в формальной логике.

Хотя представители формалистической логики и не дают вполне однозначного ответа на сущность и назначение понятия, однако можно все же установить некоторые общие черты, характерные для этого направления.

Назначение понятия состоит в том, чтобы упростить многообразие телесного мира. Действительность, на которую направляется познающая мысль, представляется нам прежде всего, как необозримое множество форм и процессов. Это множество телесного мира не имеет пределов, оно бесконечно, мы совершенно не в состоянии исчерпать до конца все встречающееся в действительности многообразие. Поэтому познание, если оно не хочет ставить себе недостижимых целей, должно прежде всего упростить многообразие телесного мира. Это и достигается общим смыслом слов. Понятие относится не к одному предмету, а к ряду сходных предметов, и содержит ограниченное число признаков, которые, однако, могут быть отнесены к целому ряду сходных предметов. В этом смысл и значение так называемых имен в формальной логике.

Общее имя, пишет профессор Минто в своей «Логике», есть имя, прилагаемое к неограниченному числу вещей на основании сходства между ними. «Примерами общих имен могут служить «человек», «плательщик налога», «храбрый человек» и т. д.

Совокупность общих признаков, в которых сходно неопределенное число вещей, имеет в логике название содержания понятия, сами же предметы, к которым относится данное понятие, называются объемом понятия.

Всякое понятие таким образом имеет две стороны: содержание и объем. Содержание — это то, что в понятии мыслится, — его признаки; объем — то, к чему понятие относится; это совокупность предметов, которые имеют в себе все признаки, входящие в состав содержания данного понятия.

Так, например, содержанием понятия науки служат ее признаки: исследование, метод, критика, система и проч; объемом же их являются частные науки: математика, естествознание, философия, история и проч.

Из этих простых соображений уже вполне вытекает процесс образования понятий: общее понятие образуется путем сравнения и отвлечения.

Мы сравниваем ряд предметов, замечаем в них черты сходства и несходства; эти общие черты мы отвлекаем и фиксируем в одном общем имени: так мы получаем содержание понятия.

Тому же самому рассмотрению мы можем подвергнуть не только отдельные данные нам в непосредственном опыте предметы, но и сами общие понятия, т.-е. мы можем сравнивать между собой образованные нами ранее понятия, устанавливать между ними черты общности и различия, отвлекать общие признаки и фиксировать их в одном термине. Так мы будем получать все более и более общие понятия; самый же процесс их образования в формальной логике носит название обобщения. Так, например, замечая общие черты у ряда деревьев, сходных между собою, мы на основании этих общих черт создаем общее понятие «липа», «береза», «дуб», но и сами эти понятия мы можем сравнивать между собою и тогда получим более общее понятие — «дерево».

Формальная логика придумала целую лестницу понятий, по которой понятия располагаются по степени их общности. В качестве очень показательного примера обычно приводят так называемое дерево Порфирия (философ IV века).

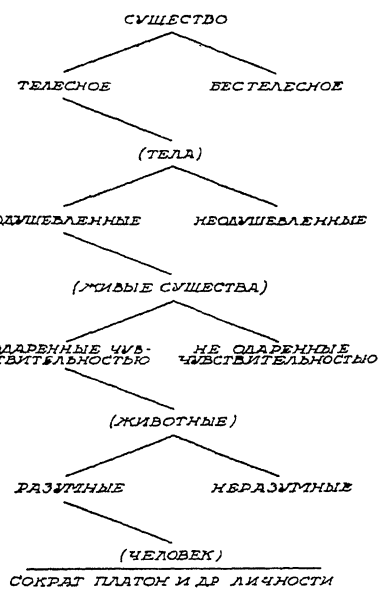
Понятие с большим объемом по отношению к понятиям с меньшим объемом называется родом; понятие с меньшим

объемом по отношению к понятию с большим объемом называется видом.

Отдельные предметы называются индивидуумами. Понятия по этому «дереву» расположены по родам и видам.

Замыкает «дерево» с одной стороны высший род, с другой — отдельные индивидуумы, посредине находятся понятия, каждое из которых, по отношению к смежному, является то родом (по отношению к низшим), то видом (по отношению к высшим).

Это «дерево», несмотря на свою причудливую форму, как мы увидим далее, имеет свой смысл: у Гегеля род, вид и индивидуум будут пониматься не как отдельные понятия, а как моменты одного и того же понятия. Дерево Порфирия в известном смысле предчувствует диалектику Гегеля.



Из этих весьма простых положений формальная логика выводит одну весьма важную теорему: о б ъ е м и с о д е р ж а н и е п о н я т и я о б р а т н о п р о п о р ц и о н а л ь н ы д р у г д р у г у, т.-е. чем больше в понятии содержания, тем меньше его объем, и, обратно, чем меньше содержания, тем больше объем

Эта теорема на первый взгляд кажется самоочевидной. Содержание понятия дерева меньше, чем содержание понятия дуба, ибо все признаки, имеющиеся в понятии дерева, находятся также в понятии дуба, но понятие дуб имеет сверх того и другие признаки, которых не имеет понятие дерево.

С другой стороны, объем понятия дерева распространяется не только на «дуб», но также и на липы, березы и прочие деревья, т.-е. объем понятия дерево больше, чем объем понятия дуб.

Принцип образования общих понятий, как он формулирован в формальной логике, должен приводить к этой теореме: ведь понятие образуется путем сравнения и отвлечения. Если я буду сравнивать немного предметов и притом сгруппирую их по сходству, то общих черт у них будет много; если же я буду привлекать большее число предметов для сравнения, то совершенно очевидно, что в этом случае количество общих признаков будет уменьшаться, следовательно, содержание понятия уменьшится, раз увеличится объем.

Однако эта убедительная на первый взгляд теорема вызывает ряд недоразумений. Ведь согласно этой теореме процесс обобщения принимает совершенно бессмысленный характер: обобщение приводит к уменьшению содержания. Обычно мы думаем, что раз нам удается обобщить в одной формуле многообразие явлений, мы тем самым обогатили нашу мысль; из этой же теоремы следует как раз обратное: наша мысль стала более скудной. Тот, кто поднялся до высшего обобщения, тот имеет мысль совершенно опустошенную, равную минимуму содержания.

Это парадоксальное, но неизбежное следствие уже в пределах формальной логики вызвало ряд попыток внести существенные поправки во всю эту теорию. Эти поправки во многом расшатали основы формальной логики, но ни в чем, по существу, не улучшили положения дела.

Из таких попыток прежде всего следует отметить учение об общих понятиях в некоторых кантианских школах

По мнению этих логиков, подвести низшие понятия под высшие значит создать из них группу или систему, в силу которой они объединены, как отдельные значения переменной величины, управляемые общим законом.

Общее понятие, по существу, является законом образования всех частных значений. Общее *ax*, в отношении подчиненных ему частных значений *ab*, *ac*, *ad*, есть выражение того, что признаки *b*, *c*, *d* объединены в систему «*x*», благодаря чему они становятся членами единого ряда.

Любая формула высшей математики может служить хорошим примером для такого понимания общего понятия:

$$AX + BY + C = O$$

есть формула прямой линии. Эта формула определяет все-

возможные положения прямой на плоскости, и, подставляя различные значения для *A*, *B*, *C*, мы можем получить все многообразие возможных положений прямой на плоскости.

Таким образом вышеприведенная теория общего понятия имеет некоторое оправдание в практике одной частной науки: математики. Ее положительная сторона состоит также в том, что она теснейшим образом соединяет понятие родовое и видовое, так как понимает общее как закон образования частного, следовательно, здесь уже преодолена та разобщенность между понятием рода и понятием вида, которая так характеризует формальную логику. Однако и эта теория понятия, по существу, не выдерживает критики: она останавливается на полдороге; ведь есть существенное различие между формулой и понятием, формула является готовым результатом познания, но она не определяет развитие и движение познания. Понять «понятие», как познавательное средство, возможно только на почве диалектической логики.

II. Учение о понятии Гегеля.

Оригинальность гегелевского понимания природы понятия легче всего может быть усвоена из противопоставления его теории обычным теориям так называемой формальной логики. Мы видели, что сущность формалистической теории состоит в том, что понятие берется, как некоторое умственное построение, которое, в силу общности принадлежащих ему признаков, относится к ряду сходных в каком-либо отношении индивидуальных предметов. Из подобного понимания вытекает, что основной силой, производящей понятие, является отвлечение. Конкретные предметы живого мира подвергаются логическому оскоплению, общее возникает, как пустая абстракция. При повторных операциях, при так называемом расширении объема, содержание понятия готово обратиться в ничто.

Против варварства этой популярной теории энергично протестует Гегель.

Прежде всего неверно, что абстракция считается действием абсолютным, завершающим. Скорее обратно: понятие, по мнению Гегеля, только начинает жить жизнью еще

несовершенной и ограниченной, оно нуждается в движении и саморазвитии. Упорство рассудка, задерживающегося в самодовольстве на любовании такими схемами, как «дерево Порфирия», должно быть сломлено. «Задача состоит в том,— пишет Гегель, — чтобы привести упрощенный материал в движение и вновь возжечь свет понятия в этом мертвом материале». Формальная логика извратила отношения между содержанием и объемом понятия. Ей чуждо понимание самой природы всеобщего (Allgemeinheit).

Проблема всеобщего у Гегеля развертывается в ряд подчиненых вопросов о единстве и взаимоотношении трех элементов: всеобщего, особенного и единичного.

Эти три элемента в процессе динамического самосознания чертят путь, проследить который необходимо, чтобы достичь разрешения проблемы понятия.

Как было только что доказано, формалистическое понятие характеризуется объемистой оболочкой при исключительной скудости содержания. Подобное обнищание понятия явилось следствием упорного пренебрежения к конкретному. Всеобщее должно уметь себя сделать обильным. А это связано с отрицанием своей нищеты. Понятие из самого себя, согласно рационалистической и идеалистической концепции Гегеля, дробит себя на крайности, *А* и не-*А*. Будучи неопределенным в начале, оно становится «определенным в этой своей неопределенности», т.-е. оно все более и более себя определяет, различает, расчленяет. В этом процессе своего различения оно остается тождеством противоположных моментов.

Определенность есть особенность. Если происшедший процесс выразить в терминах формальной логики, то придется сказать, что род, т.-е. первоначально всеобщее, в то же время есть вид, т.-е. определенно всеобщее. Такой результат отчасти разумеет логика, уча, что определение понятия совершается через указание ближайшего рода и специфического различия, но для нее весьма мало понятно это единство рода и вида, это вхождение вида в состав рода, которое абстрактно мыслится вне видов, «над» ними. Напротив, по Гегелю, особенное входит во всеобщее, как его живая часть, не извлекается вовне и не располагается над ним.

Истинное отношение Гегель характеризует так, что всеобщее «проникает» свои моменты и заимствует от них свою полноту. В соответствии с этим Гегель говорит: «виды различаются не от «общего» и только один от другого». («Лог.», III, 23.) Совокупность разнствующих понятий образует полноту понятия.

Но если особенное в то же время есть и общее, то, очевидно, в этом результате зреет новый плод и новое рождение. Происходит новое разложение и определение. То, что раньше было определено, определяется вторично. Возникает «определенная определенность», единичное, как предел и завершение определенного.

Таким образом нельзя себе представить общее, особенное и единичное численно в виде трех понятий. Различные определения понятия суть собственно выражения единой природы по существу единого понятия, они вовсе не распадаются и не независимы одно от другого: они суть диалектические моменты понятия, которое есть конкретная целость их.

Процесс образования единичного есть в сущности процесс индивидуализации. Частное в пределе совпадает с индивидуальным.

Спецификация «специального» может мыслиться завершенной. Отношение частного к единичному таково же, каким оно было между общим и частным.

В формально-логическом смысле частное — ближайшее родовое понятие единичного. Отношение координированных единичных понятий между собой тождественно с отношением между собой особенных понятий. Через посредство особого индивидуальное относится к общему. Индивидуальное совпадает не только с видом, но также и с родом; как живая конкретность, единичное являет собой цель, достичь которой стремится понятие. В ней замыкается круг познания.

Расчлененная совокупность единичностей образует собой весь объем, полноту познания.

Непосредственными выводами из этого неминуемо являются глубокие изменения в понимании самой сущности и структуры понятия: у Гегеля понятие является прежде всего субъектом, «я», «самосознанием», не только в онтологическом, но и в ло-

гическом смысле. (Гегель. «Наука логики», III, 6—8, русск. пер Дебольского, Петроград, 1916 г. Hegel «Encyclopedie», изд. Lasson, II, стр. 156, § 159.)

Сущность этого оригинального учения в кратких чертах может быть представлена так. Обычно,—замечает Гегель,— говорят совершенно иное по существу; говорят: «я» имею понятие, как я имею фартук, цвет и другие внешние свойства. Поэтому если рассудок берется в значении способности понятия, то под ним понимают некоторое свойство, находящееся в таком же отношении к «я», как свойство вещи к самой вещи. Согласно обычному представлению, таким образом, «я» и понятие весьма различны, далеко не совпадают друг с другом. Но это, по мнению Гегеля, глубоко ошибочно. «Нельзя останавливаться на простом представлении «я», как оно преподносится нашему обычному сознанию, по которому «я» есть простая вещь, именуемая душой. «Это представление не допускает правильного пониманиля ни «я», ни понятия, оно не может служить тому, чтобы облегчить понимание понятия или приблизить нас к нему».

Сущность понятия Гегель видит в том, что оно есть не что иное, как «чистое самосознание». Основания, которые он приводит в подтверждение этой своей теории, различного рода. Понятие в науке логики возникает из диалектики субстанции. «Субстанция есть непосредственное предположение, — говорит Гегель, — она есть то в себе, что понятие есть как проявление ее. Диалектическое движение субстанции через причинность и взаимодействие есть непосредственный генезис понятия».

Воспроизводить здесь в полном виде диалектику этого генезиса было бы излишним. Необходимо лишь обратить внимание на то, что это центральный пункт всей гегелевской философии; Гегель уже в «Феноменологии духа» утверждал, что основная метафизическая проблема состоит в том, чтобы понять субстанцию, как субъект. Если такого понимания не будет достигнуто, то нет спасения от спинозизма и неоспинозизма, шеллингианства и проч. На различные лады ту же мысль повторяет Гегель в своей «Логике». Изложение субстанции, приводящее к понятию, есть единственное и истинное опровержение спинозизма. «Для того, кто не предполагает для себя и свободы и самостоятельности самосозна-

ющего субъекта, никакое опровержение спинозизма не может иметь места» (см. главу «о понятии вообще» в «Логике» Гегеля).

Второе доказательство Гегеля состоит в обнаружении непосредственного совпадения понятия и «я». «Я, — пишет Гегель, — есть, во-первых, чистое, относящееся к себе единство и притом непосредственное, а, поскольку оно отвлечено от всякой определенности и содержания и совпадает с собой, с самим собой в безграничном тождестве, — оно есть общность».

Во-вторых, «я» есть единственность, абсолютная определенность, противополагающая себя и исключающая другое: индивидуальная личность.

Таким образом природа понятия и природа «я» тождественны в том смысле, что в том и в другом нельзя ничего понять, если не мыслить момент общности и единичности как в их отвлечении, так и в их единстве.

Всего яснее сущность гегелевской теории понятия в ее своеобразии может быть вскрыта из тех рассуждений Гегеля, в которых он указывает, откуда он ее заимствовал. Гегель указывает на Канта, у которого, действительно, намечен новый принцип понимания: «Кант возвысился над внешним отношением рассудка, как способности понятия, до самого понятия, до «я». «К глубокомысленнейшим и правильнейшим взглядам, находящимся в «Критике разума», принадлежит тот взгляд, по которому единство, составляющее сущность понятия, познается, как первоначально-систематическое единство апперцепции, как единство «я мыслю» или самосознание».

Всего любопытнее видеть, как Гегель в данном случае истолковывает Канта. Объект, по Канту, есть то, в понятии чего объединяется многообразие некоторого данного воззрения. Но всякое объединение представлений требует сознания их синтеза. Следовательно, единство сознания есть то, что «одно образует отношение представлений к некоторому предмету».

Все приведенные у Канта рассуждения безусловно значатся в «Критике чистого разума», но в подлиннике кантовская дедукция сложнее, во многом она противоречива. В особенности в понимании сущности объекта Гегель разрубает

трудности и направляет кантовскую мысль в свое русло. Объект тождествен с «я» в акте понимания, субъект «я» становится объективным, как чистая научная мысль: это отнюдь уже не центр нашей психической жизни, субъективизм здесь уже покинут Кантом. Сам Гегель подчеркивает эту мысль. Совершенно правильно Кант различает субъективное единство сознания от объективного представления через понятие. Объект есть объективное единство, единство—«я» с самим собой.

«Предмет имеет объективность в понятии», пишет Гегель. Для обычной точки зрения скорее напротив—предмет, представленный в понятии, становится субъективным, но Гегель оставил далеко позади себя субъективные понятия, как способности души и ее орудия. Понятие для него источник всякой объективности. Единственное понятие есть «я», поэтому и самое это «я» есть столь же объективное, в себе и для себя сущее. Познающий человек должен лишь следить за развитием этого понятия, ничего, по возможности, не привнося от себя.

Здесь нужно подчеркнуть, что учение Гегеля о понятии, как о самосознании, является не только характерным, но и определяющим все его моменты учения о понятии. Только таким путем он мог превратить формальную логику в диалектическую, когда понятия перестают быть застывшими определенными содержаниями сознания, а оказываются прежде всего конкретным процессом самосознания. Не будь этого самосознания, моменты понятия — общность, особенность и единичность — распались бы, как отвлеченности, и ополчились бы друг против друга во взаимном самоотрицании. Самосознание устраняет роковое противоречие общего, частного и единичного, вновь обосновывает понятие, является его «основным» логическим и в то же время метафизическим корнем.

III. Учение Маркса о понятии.

Те существенные изменения, которые материалистическая логика вносит в учение о понятии, всего яснее можно видеть из тех мыслей, которые содержатся в недавно опубликованном предисловии Маркса и «Критике политической экономии».

«Когда мы рассматриваем данную страну в экономическом отношении, то мы начинаем с ее населения, его разделения на классы, его группировки между городом, деревней и морем, между различными отраслями производств, с вывоза и ввоза годичного производства и потребления и т. д. *Казалось бы наиболее правильным начинать с реального и конкретного, с действительных предпосылок* (курсив мой), следовательно, в политической экономии с населения, которое образует основу и субъект общественного производства. *Но при ближайшем рассмотрении это оказывается ошибочным*» (курсив мой).

Это не только методологическое правило: так действительно поступал Маркс, что особенно ярко выражено в первых главах «Капитала». Знаменитое учение о ценности Маркса является прежде всего весьма абстрактным рассуждением. В известном смысле (с присовокуплением необходимых оговорок) вполне справедливо комментаторы Маркса говорят, что Маркс свой анализ начинает отрицанием непосредственного данного. «Он хочет найти за непосредственно данным истину бытия, устраняя качественную определенность бытия в ее эмпирическом существовании, считая ее безразличною и переходя к бытию, как к чистому количеству... Конкретные товары лишаются своей определенности (как сюртук или 20 арш. холста) и выступают как простые количества общественного труда.

Конкретный индивидуальный труд также лишается своей определенности и рассматривается как простая форма проявления всеобщего общественного труда. Наконец, сами хозяйственные субъекты, эти люди из плоти и крови, теряют свое видимое существование и превращаются лишь в органы труда и агентов производств: одни из них становятся воплощением определенного количества общественного капитала, а другие — воплощением определенного количества общественной рабочей силы». («Основные проблемы политической экономии», сборник 1922 г., стр. 48.)

Этот прием вызвал и вызывает многие недоразумения. Один из первых рецензентов, слишком известный, так как его отзыв приведен in extenso в предисловии Маркса ко второму изданию «Капитала» обращает несколько робко внимание на этот прием. Реплика Маркса, весьма, впрочем, краткая, не рассеяла недоразумений. Напротив, нападки критики

на этот пункт стали резче, определеннее. «Ныне мы можем исследовать законы образования цен более прямым путем, чем фокусничанье с метафизической вещью, именуемой ценностью», пишет Бернштейн («Documente des Sozialismus», B. V, стр. 559) Точно так же говорит и Бем-Баверк «Вместо того, чтобы обосновывать свои положения эмпирически или психологически, из опыта и движущих мотивов, Маркс предпочитает третий способ доказательства, конечно, весьма странный: путь чисто-логического доказательства, диалектическую дедукцию из сущности обмена».

Не приводя дальнейших цитат, можно сказать, что отрицание конкретного, как отправной точки рассуждения, т.-е. мнимый априоризм Маркса, вызвало многочисленные полемические нападки. Марксовы дедукции слишком часто третируются как диалектические фокусы теми, кто не хочет вникнуть в природу его диалектики; весьма многие теоретики политической экономии, отстаивая весьма своеобразно понятый «историзм», хотят обойтись вообще без всякой теории.

Генрих Кунов весьма резко критикует подобную критику. Он справедливо указывает, что современные профессора политической экономии не хотят обосновывать закон капиталистического хозяйства, как это делала некогда английская классическая политическая экономия: они хотят только объяснить экономические явления, протекающие перед нашими глазами, и при том нередко лишь внешнюю форму этих явлений. Метод, применяемый этим направлением политической экономии,—не аналитически-абстрактный, а эмпирически-комбинаторный. Хозяйственные явления рассматриваются просто так, как они представляются наблюдению, без выделения анализом более или менее случайных обстоятельств, потом на основании их временной последовательности между ними устанавливается причинная связь. Например, иной современный экономист видит, что к началу хозяйственного кризиса склады переполнены товарами, преимущественно по предметам личного потребления; отсюда делается вывод, что в истекший период процветания эти товары были потребляемы в недостаточном количестве, кризис вытекал, следовательно, из всеобщего недостаточного потребления. Другой ученый замечает, что каждый раз перед кризисом наступает

так называемый денежный голод, и процент векселього учета заметно повышается, и отсюда заключает, что кризис есть следствие недостатка денег, что в свою очередь имело причиной своей то обстоятельство, что в период хозяйственного подъема не был накоплен в достаточном количестве новый капитал для расширения процесса производства; следовательно, кризис проистек не из недостаточного потребления, но из относительного чрезмерного потребления. Здесь, очевидно, заключают согласно схеме — post hoc, ergo propter hoc: из временной последовательности двух или нескольких хозяйственных явлений заключают, что позднейшее явление должно быть следствием предшествовавшего. Против таких приемов Кунов справедливо цитирует слова Маркса, который резко восстает против учений, ссылающихся на «видимость явлений противу законов явлений».

В противовес этим непроанализированным и часто иллюзорным последовательностям и сосуществованиям Маркс подчеркивает, что он ищет «чистых», «абсолютных» законов, хотя отлично видит, что эти абсолютные законы лишены абсолютного действия, что, напротив, их действие часто или всегда видоизменяется или даже совсем уничтожается другими законами.

Сам Маркс дает очень оригинальный ответ на им же поставленный вопрос, почему нельзя начинать с конкретного, с действительных предпосылок, т.-е. в данном случае с населения.

«Население—это абстракция,—пишет Маркс,—если я упускаю из вида классы, из которых оно состоит. Эти классы опять-таки пустые звуки, если я не знаю элементов, на которых они покоятся, например: наемный труд, цена и т. д. Капитал ничто без наемного труда, без стоимости, денег и т д. Если бы я таким образом начал с населения, то я дал бы хаотическое представление о целом и только путем более частных определений аналитически подошел бы все к более и более простым понятиям; от конкретного данного в представлении к все более и более тощим абстрациям, пока не достиг бы простейших определений».

Легко видеть, что в критике конкретного Маркс сжато формулирует принципы гегелевской критики чувственной до-

стоверности, как она развита в начальных параграфах «Феноменологии духа».

Действительно, критика чувственной достоверности в «Феноменологии духа» содержит тезис, вполне аналогичный тому, какой выдвигает Маркс: истина чувственной достоверности есть общее (Hegel. «Phenomenologie des Geistes» ed. Lasson, 1907 г., стр. 7). Правда, на первый взгляд нам кажется обратное: форма знания представляется нам вовсе не пустой, абстрактной и общей, а, напротив, самой предметной, реальной и самой богатой. Ее предметы простираются так же далеко, как и пространство и время. Гегель же стремится показать, что непосредственная чувственная достоверность, ничуть не затронутая никакой рассуждающей мыслью, никак не проанализированная, не может заключать в себе для незнающего много различных определений и отношений, которые устанавливаются сравнением, различением, словом, действием мысли, что чувственная достоверность прежде всего хаотична, неразличима, что она бедна, говорит лишь о голом, наличном существовании, что все многообразие, которое она в себе заключает, вскрывается не как нечто данное, а как сложный процесс как самой действительности, так и нашего восприятия ее.

Эти общие свои тезисы Гегель иллюстрирует на некоторых примерах, которые хорошо вскрывают сущность его мысли. Что значит, когда мы говорим: «здесь», «теперь», «я», что содержат в себе эти высказывания и показывания? Предположим, что «теперь», представляемое единичным, чувственным «я», есть ночь, если мы запишем эту истину, то спустя 12 часов она обратится в свою противоположность: «теперь» будет день. Следовательно, этому «теперь» принадлежит бесконечное множество отдельных определений времени, так как оно может быть и ночью, и днем, и вечером, и утром и не обязано быть ни тем, ни другим и ни третьим. Это «теперь» из единичного обратилось в общее.

Ту же диалектику можно применить и к этому «здесь». Предположим, что «здесь» передо мной дерево, но стоит мне перевернуться, и передо мной «здесь» будет дом; это «здесь» является таким же общим, как то «теперь». То же можно сказать и о каждом единичном чувственном «я», которое может быть вечным «я».

Доказательства Гегеля, как они проведены в «Феноменологии», представляются нам несколько софистическими, и это главным образом потому, что в данной части своего труда Гегель пользуется, правда, без всяких ссылок, аргументами греческих совопросников, которые были, как известно, большими виртуозами по этой части.

Но специфичность гегелевской манеры не должна затемнять сущность самого вопроса. Во всяком случае должно быть ясно, что Маркс мог воспользоваться этой аргументацией, ибо она вполне соответствует научной точке зрения на познавательный процесс. Непосредственная чувственная данность, если мы подходим к ней без всяких точек зрения, без всяких определенных поставленных вопросов, для познающего прежде всего хаотична и смутна; мы должны в ней разобраться, воссоздать ее в долгом и сложном аналитическом процессе. Первый приступ к этой работе дает нам только «тощие абстракции», которые впоследствии должны быть развиты, получить содержание по мере продвижения вперед самой познавательной работы.

Во всяком случае, критика Марксом конкретности не должна дать повода к недоразумениям. Конкретность благодаря этой критике не утрачивает вовсе своей значимости, напротив, она является истинно проблемой познания, предметом, на который познание направлено. Это явствует из дальнейших слов Маркса. «От простейших определений, — продолжает Маркс в своем предисловии к «Критике политической экономии», — я должен был бы спуститься обратным путем, пока снова не дошел бы до населения, но уже не как хаотического представления о целом, а как богатой совокупности с многочисленными определениями и отношениями».

Эти два пути — от хаотической конкретности к тощим абстракциям и, обратно, от простейших определений к представлению о целом, как к богатой совокупности с многочисленными определениями — определены не только рассуждающей, логической мыслью, а даны также самим развитием политической экономии. «Первый путь, — пишет Маркс,—это тот, по которому политическая экономия следовала при своем возникновении; экономисты XVII столетия, например, всегда начинают с живого целого, с населения,

с нации, государства, нескольких государств и т. д. Но они всегда заканчивают тем, что путем анализа выделяют некоторые определяющие абстрактные общие отношения, как разделение труда, деньги, стоимость и т. д. Как только эти отдельные моменты были более или менее абстрагированы и зафиксированы, экономические системы начали восходить от простейшего, как труд, разделение труда, потребность, меньшая стоимость, к государству, международному обмену и мировому рынку».

Это историческое указание может еще более усилить мнение о двух различных путях познания — от конкретного к общему и абстрактному, и обратно—от абстрактного к конкретному; может возникнуть мысль о некоем методологическом дуализме, который в корне противоположен диалектическому монизму.

Маркс, однако, не остается при этом противоположении и при этой противоположности. Он пишет: «Последний метод (от абстрактного к конкретному), очевидно, является правильным в научном отношении. Конкретное потому конкретно, что оно заключает в себе много определений, являясь единством в многообразии. В мышлении оно выступает, как процесс соединения, как результат, но не как исходный пункт, хотя оно является исходным пунктом наглядного созерцания и представления. Если итти первым путем, то полное представление испарится до степени абстрактного определения, при втором же абстрактное определение ведет к воспроизведению конкретным путем мышления».

Легко видеть, что именно этим методом и написан «Капитал» Маркса. Он начинает с анализа самых общих определений и от него идет к конкретной полноте действительности и воспроизведения конкретного путем мышления. Вышеприведенными соображениями этот путь обосновывается Марксом; таким образом, это вполне сознательный прием.

Аргументы Маркса лишь сами по себе требуют некоторых оговорок, ибо они вызвали, как мы видели, недоразумения и недоумения со стороны критиков.

Прежде всего нужно установить понятие конкретного, как оно формулировано Марксом.

Конкретное выступает в двояком виде: в мышлении оно выступает как результат, для наглядного представления —

оно исходный пункт. Спрашивается, имеем ли мы два образа конкретного, или есть единое конкретное и различны лишь формы единого по существу процесса, в коем оно познается.

Во всяком случае должно быть ясно, что отнюдь нельзя перетолковывать эти положения в духе современного кантианства, как это делает Отто Бауэр («Основн. пробл.», стр. 50): «то, что психологически представляется исходным пунктом, — пишет он, — логически является результатом». Противопоставление психологической и логической точек зрения является крайне характерным для кантианства; можно сказать, в этом его основная природа, без этого различия совершенно невозможна трансцендентальная философия критического идеализма. Кантовская критика отвечает на вопрос, не как возникает опыт, а что в опыте содержится («Prolegomena»).

Это утверждение Канта ведет к различению генетического и критического метода, но подобная ориентация проблемы во многом чужда диалектике. Диалектика определенно отрицает самую возможность рассмотрения определенного логического содержания только как готовый результат, вне его генезиса; возникновение и порождение понятия одно в силах раскрыть его содержание и показать, что оно такое.

В соответствии с этим для диалектики Маркса конкретное, как отправной пункт, и конкретное, как результат, являются двумя крайними точками, в пределах которых развивается логический процесс познания. Дело идет вовсе не о двух различных плоскостях, в которых планируется познание, — то как психологическое, то как логическое; в диалектике мы имеем по существу один процесс, который развертывается в своих различных моментах; только отвлекающая мысль, только сила абстракции может установить здесь противоположности, на которых диалектика может не останавливаться. Конкретное, абстрактно вырванное из своей связи с общим, само превращается в абстракцию. Поэтому абстрактное вне своей связи с конкретным «испаряется», как говорит Маркс, превращается в чистое ничто, в отсутствие какого-либо содержания. За рассуждениями Маркса стоит не кантовская, а гегелевская теория понятия.

Если мы откинем идеалистические и рационалистические элементы этой теории понятия, то мы получим основы для понимания способа рассуждения Маркса.

Маркс, как и Гегель, стоял на той общей для всякой диалектики мысли, что понятие не есть только замкнутое, определенное, раз и навсегда застывшее содержание; и для Маркса само это содержание мыслится лишь как содержание определенного процесса познания. Правда, у Маркса понятие не являет собой «путь самоуглубления понятия, как результат восхождения к внутреннему единству, и в себя углубляющегося и из себя развивающегося мышления», как то мы видели только что у Гегеля. Маркс—эмпирик. Он идет от конкретного к конкретному; в этом смысле очень странно упрекать Маркса в произвольных априористических построениях, его мысль эмпирична до последних пределов, опыт для него является и началом и концом познания. Но в то же время эта самая конкретность дана ему дважды — в начале и в конце познавательного процесса: в первом случае конкретное есть «хаотическое» представление о целом; во втором — «конкретное» есть результат многочисленных определений и отношений. Единство этих двух конкретных дается единством самого познавательного процесса, который состоит в расчленении и объединении, упорядочивании, «воссоздании» наличной данной действительности.

Этот путь упорядочивания, воссоздания, путь от хаоса к расчлененному целому невозможен без аналитической силы познания, невозможен без отвлечения. Поэтому хаотическому состоянию конкретного соответствует наличие тощих абстракций, которые приобретают полноту содержания в процессе приближения к упорядоченному конкретному, к полному воссозданию действительности. И Маркс таким образом разделяет мысль Гегеля об единстве общего, частного и конкретного, что диктуется уже его пониманием понятия, как процесса.

Если тем не менее, несмотря на эти ясные рассуждения, мысль Маркса часто истолковывалась неправильно, так что подчеркивался односторонне то эмпирический состав его теории, то рационалистический, то виной тому отчасти служит естественная трудность воссоздания в печатной книге живого, всегда конкретного диалектического процесса мыш-

ления. В соответствии с этим Маркс различал форму изложения и форму исследования. Каждое положение может быть понято только через свою связь с другими и с целым, но первоначально эта связь и это отношение скрыты для читателя, форма изложения вводит его в обман, скрывает от него форму исследования. В конце-концов читатель должен быть сам диалектиком, чтобы повторить диалектический процесс развития доказательства. Нужно броситься в воду, чтобы научиться плавать.

IV. Идеализм и материализм в учении о понятии.

Мы определили точки совпадения теории понятия у Гегеля и у Маркса, но, конечно, не менее существенны пункты их расхождения. Для Гегеля, как для абсолютного рационалиста, понятие, как мы видели, есть «свободная мощь», абсолютная полнота всех возможных определений, которые содержатся в нем. Понятие творит у Гегеля действительность, которая является не чем иным, как его инобытием, его явлением и выражением, если не призраком.

Маркс, материалист и реалист, не мог стоять на этой точке зрения крайнего логизма и априоризма. Маркс отправляется от опыта и идет к опыту. Опыт, действительное, конкретное является началом и завершением этой диалектики, поставленной на ноги, а не ходящей на собственной голове.

Диалектика Маркса расходится с онтологической основой гегелевской диалектики. Весьма отчетливо указано это различие самим Марксом. «Гегель, — говорит он, — поддается иллюзии, что реальное следует понимать как результат восходящего к внутренному единству, в себя углубляющегося и из себя развертывающегося мышления, между тем как метод восхождения от абстрактного к конкретному есть лишь способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его духовно, как конкретное. Однако это не есть ни в коем случае процесс возникновения самого конкретного. Простейшая экономическая категория, например, меновая стоимость, предполагает население, производящее в определенных условиях, а также в определенных формах семьи, общины или государства и т. д. Оно не может существовать иначе, как абстрактное односто-

роннее отношение уже данного конкретного и живого целого».

Это фундаментальное различие отмечается также и комментаторами Маркса. Так, Бауэр пишет: «Хотя Маркс следует в своем методе Гегелю и пользуется его терминологией, все же он лишает этот метод его онтологического характера (курсив автора). В многочисленных методологических замечаниях, рассеянных в его труде, он указывает, что его понятия, в отличие от гегелевских, суть не реальные сущности, а лишь орудия для того, чтобы духовно овладеть конкретным, эмпирическим и воспроизвести его в науке («Основ. проблемы», стр. 48). Как известно, Энгельс в своем «Людвиге Фейербахе» подчеркнул в полном согласии здесь с Марксом, что исторический материализм заимствует от Гегеля его диалектику, но отбрасывает его идеалистическую систему; диалектика у Маркса есть прежде всего метод, а не онтология, не движение понятия, сущего в себе и для себя.

Эти совершенно справедливые сами по себе понятия и соображения отнюдь не должны подать повода к недоразумениям. Нельзя прежде всего думать, что метод Гегеля был чисто-внешним образом связан с его системой, что их можно отделить друг от друга механически; напротив, они у Гегеля взаимно органически связаны; взаимно себя полагают и дополняют. Логика Гегеля является логикой идеалистической по преимуществу, этот идеализм выступает в самых значительных местах логической системы. Маркс, заимствуя диалектику у Гегеля, но не разделяя совершенно его онтологии, должен был существенно изменить и его метод. Никоим образом нельзя думать, что методы Маркса и Гегеля совпадают и вполне тождественны.

Только полагая здесь существование различия, можно, мне кажется, истолковать трудно формулированную самим Марксом мысль его: «Для сознания (а философское сознание отличается тем, что для него логическое мышление — это действительный человек, а логически осознанный мир — действительный мир) движение категорий кажется действительно создающим актом. Это постольку правильно, поскольку конкретная совокупность в качестве мысленной совокупности, мысленной конкретности есть на самом деле

продукт мышления, понимания; это ни в коем случае не продукт понятия, размышляющего и развивающегося вне наглядного созерцания и представления, а переработка содержания представлений в понятие. Целое, каким оно является в голове, как мыслимое целое, есть продукт мыслящей головы, которая осваяет себе мир единственным доступным ей способом — способом, отличающимся от художественного, религиозного, духовного освоения мира. Реальный субъект остается все время вне головы, существует, как нечто самостоятельное, и именно до тех пор, пока голова относится к нему лишь умозрительно, теоретически. Поэтому при теоретическом методе (политической экономии) субъект, т.-е. общество, должен постоянно витать в нашем представлении, как предпосылка».

Первая часть этой цитаты не может вызвать недоразумения, это уже вышеупомянутое и достаточно расчлененное различие мысли и действительности и в то же время их тождество, откуда может возникнуть иллюзия, что мыслящий человек есть действительный человек, и логически познанный мир — действительный мир. Это уже знакомый нам аргумент против онтологизма Гегеля.

Может вызвать затруднения для понимания конец, именно, понятие реального субъекта, который стоит вне головы, пока голова относится к нему лишь теоретически. Эту фразу нельзя признать совершенно ясной, по крайней мере, с первого взгляда, хотя более или менее легко угадывается основная интенция Маркса, что он, собственно, хотел сказать. На сферу хозяйственных отношений можно распространить термины, получившие гражданство в гносеологии и общей философии: субъект и объект. Так, мы встречаем у Маркса, например, следующую фразу из того же разбираемого нами введения: «Определения, которые приложены к производству вообще, должны быть проанализированы, чтобы существенные различия не были забыты в виду единства, которое обусловлено уже тем, что как субъект — человечество, так и объект — природа, существуют на всех ступенях» («Основн. проблемы», стр. 7). И далее мы читаем: «Действующим лицом в более или менее обширной совокупности отраслей производства всегда является некоторый сознательный организм, общественный субъект» (стр. 8).

Этот реальный субъект для мыслящей головы является объектом ее мысли, которая стремится воспроизвести его путем мышления, но тщетно, ибо он находится все время вне головы, пока голова относится к нему лишь умозрительно, теоретически; по отношению к этому реальному субъекту положения мысли должны быть охарактеризованы, как предикаты, сказуемые; в этом смысле основные понятия политической экономии Маркс любил называть категориями — сказуемыми. Гносеологическая позиция Маркса, поскольку он разорвал с онтологизмом Гегеля, несомненно, вела к этому признанию.

Маркс, как мы видели, вполне разделяет мысль Гегеля, что общее особенное и конкретное являются лишь моментами понятия, но теперь он готов разрушить возможность этого единства, раз конкретный субъект полагается им вне головы, раз понятие никак не является субъектом, а лишь предметом этого реального субъекта. То, что у Гегеля теснейшим образом связано, что взаимно обусловлено и определено, то у Маркса отделено друг от друга, но тем самым кажется, что рушится и вся теория понятия.

Марксу как будто необходимо было или совершенно отказаться от методологии гегелевского понятия, или иными средствами, уже не идеалистическими, приблизить снова реальный субъект к голове, сделать так, чтобы субъект и мыслящая голова как-то снова совпали между собой.

Действительно, мы находим у Маркса многозначительную поправку в вышеприведенной цитате: «Реальный субъект остается все время вне головы, существуя как нечто самостоятельное и именно до тех пор, пока голова относится к нему лишь умозрительно, теоретически». Эта оговорка указывает на возможность принципиально иной точки зрения, когда дуализм познаваемого и познающего устраняется, снимается в новом единстве.

Об этом объединении Маркс ничего не говорит в предисловии к «Критике политической экономии», но мы знаем, что эта точка зрения выдвинута им очень резко и определенно в так называемых «тезисах», опубликованных Энгельсом в приложении к «Людвигу Фейербаху».

Эти тезисы очень часто цитируются, но тем не менее они вполне заслуживают того, чтобы в них внимательно разобраться.

Энгельс упрекал материализм XVIII века в двух недостатках. Во-первых, это был материализм односторонний, механический, в нем односторонне превалировали категории, заимствованные из механики твердых тел, «механики гяжести», как говорит Энгельс. К законам механических явлений тщились свести законы всех прочих явлений — химических, биологических и проч

Во-вторых, и это самое существенное, материализм XVIII века отличался антиисторическим характером, он был неспособен взглянуть на мир, как на процесс, как на вещество, которое находится в непрерывном развитии. В нем отсутствовал исторический взгляд на природу. Эту критику Энгельса в свое время расширил и сделал популярной Плеханов в своих основных теоретических работах: «Beitrage zur Geschichte des Materialismus» и «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

Если мы обратимся к Марксу, то мы увидим, что отличительную черту своего материализма от предшествующего Маркс формулирует следующим образом: «Главный недостаток материализма — до фейербаховского включительно — состоял до сих пор в том, что он рассматривал действительность, предметный, воспринимаемый высшими чувствами мир, лишь в форме объекта или в форме созерцания, а не в форме конкретной человеческой деятельности, не в форме практики, не субъективно» (курсив везде подлинника).

Собственно, ударение лежит на слове субъективно, ибо и конкретную человеческую деятельность и форму практики можно в свою очередь рассматривать объективно в форме объекта. Существенное изменение наступает лишь тогда, когда мы отказываемся от односторонней теоретической точки зрения, когда мы перестаем рассматривать предмет только в форме объекта, когда мы рассматриваем его также субъективно, т.-е когда самый субъект есть в то же время и объект.

В этом и состоит относительная историческая правда идеализма и идеалистической философии, которая отказалась рассматривать мир только как объект познания, которая в самом познании открыла деятельную субъективную сторону.

«Деятельную сторону в противоположность материализму развивал до сих пор идеализм, но развивал отвлеченно, так как идеализм естественно не признает конкретной деятельности, как таковой».

Идеалистическая диалектика, следовательно, имеет тот недостаток, что она отвлеченная; нужно эту отвлеченную диалектику заменить конкретной, т.-е. материалистической. Как мы видели, конкретный субъект в общественных науках есть человеческое общество; этот субъект при только теоретическом рассмотрении остается все время вне головы; возникает роковое противоречие и противоположность познающего и познаваемого, головы и субъекта, возникает, выражаясь терминами Гегеля, «несчастное сознание», которое зрит свою «субстанцию» и свою истину вне самого себя.

Отъединение теории от практики заводит в тупик самую теоретическую мысль, имеет следствием ее крушение «Вопрос о том, способно ли человеческое мышление познать предметы в том виде, как они существуют в действительности, — вовсе не теоретический, а практический вопрос. Практикой должен доказать человек истину своего мышления, т.-е. доказать, что он имеет действительную силу и не останавливается по сю сторону явлений. Спор же о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто-схоластический вопрос».

Схоластическим знание становится тогда, когда оно теряет из вида данный предмет, реальный предмет; при теоретическом рассмотрении реальность находится вне головы, спор о реальности превращается в схоластический спор.

Мне кажется, это место ни в коем случае нельзя истолковывать в духе современного прагматизма. Нельзя привлекать для подтверждения этого своего мнения также и слишком часто цитируемый тезис: «философы лишь объясняли мир так или иначе, но дело заключается в том, чтобы изменить его». В самом деле, если, как мы видели, теоретическая точка зрения изолированная не выдерживает критики, терпит сама в себе крушение, становится схоластичной и не реальной, то, конечно, не менее ошибочен односторонний прагматизм и практицизм.

«Субъективная точка зрения» в социологии, по справедливости, нашла наиболее решительного противника в лице

исторического материализма. Социализм в понимании Маркса есть прежде всего научный социализм и объективен в той же мере, сколь и субъективен: он основан на развитии классовых противоречий и интересов, которые результируют из объективного развития производительных сил Практика, изолированная от теории, приводит в неменьший тупик, чем теория, изолированная от практики. Примитивный утопический социализм был столь же чужд Марксу, что доказывать это подробно еще раз становится совершенно излишне.

Но где искать этого действительного и действенного единства объективной и субъективной точек зрения, где дано это тождество и неразрывная связь, где обретаем мы самосознание, уже не отвлеченное, а конкретное, когда и где субъект совпадает вновь с мыслящей головой? Вот вопросы, к которым неуклонно приводит разбор как общей теории понятия у Маркса, так и его тезисов о Фейербахе.

С наибольшей определенностью по этому поводу Маркс выражается в тезисе третьем: «Материалистическое учение о том, что люди представляют собой продукт обстоятельств и воспитания, забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, и что воспитатель сам должен быть воспитан. Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может быть правильно понято только в том случае, если мы представим себе его, как революционную практику».

Общее материалистическое утверждение гласило, что люди имеют склонность к добру, что они имеют равные умственные способности, что опыт всемогущ, что человек есть продукт всех обстоятельств и проч. (ср. заметку Маркса о материализме XVIII века); теперь Маркс дополняет эту «предпосылку коммунизма», как он выражается. Воспитатель сам должен быть воспитан. Пассивное отношение к среде должно смениться активностью человека и человеческого общества. Благодаря этому процессу в нем возникает искомое совпадение отвлеченно-теоретической, объективной точки зрения и живой деятельности и практики.

Для познания возникает новая постановка проблемы, которая дает ключ ко всем другим проблемам. «Объективная жизнь есть жизнь практическая по существу. Все таинственное, все то, что в теории ведет к мистическому, нахо-

дит решение в человеческой практике и в понимании этой практики».

«Понимание практики», общественной и революционной, устраняет мистицизм отвлеченной идеалистической диалектики и формулирует принцип диалектики конкретной, материалистической Теперь учение о понятии освобождено от оков идеалистической системы и включено в единство другой системы — материалистической. Нигде Маркс не отклоняется более от Гегеля и в то же время нигде он не столь близок к нему, как здесь. Самой оригинальной частью гегелевского учения о понятии было понимание им понятия, как чистого самосознания. Маркс принужден был откинуть идеалистическое толкование самосознания и заменить его другим, логически (не систематически) ему весьма близким пониманием революционной практики.

Если мы с точки зрения этих выводов взглянем на метод Маркса, то мы поймем некоторые его особенности. «Капитал» не есть только теоретический трактат: он в то же время орудие классовой борьбы и орудие организации рабочего класса, его выводы диктуются пониманием практики. В этом смысле «Капитал» весьма проникнут «субъективными» элементами, это книга весьма «практическая», но в то же время она в высшей степени теоретична и аналитична. Действующий субъект и мыслящая голова находят в ней свое единство, они непосредственно совпадают.

Научный социализм и исторический материализм — философия, которая в то же время является самосознанием рабочего класса в его классовой борьбе.

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ.

I. Вывод в формальной логике.

Как подходит к выводу современная логика?

Большинство современных руководств по логике различают выводы двоякого рода: 1) вывод дедуктивный и 2) вывод индуктивный.

Под дедукцией подразумевают вывод от общего к частному, под индукцией — вывод общих законов на основе частных наблюдений. Формальная логика весьма тщательно изучила дедуктивный вывод или силлогизм; в особенности подробно разработана силлогистическая техника. В средневековой схоластической философии этой техникой владели в совершенстве и щеголяли ею на различных диспутах, которые часто устраивались при университетах в средние века.

Подробности силлогистики нас не могут интересовать; те, кто пожелал бы с ними познакомиться, найдут их в любом грамотном учебнике логики (Минто. «Индуктивная и дедуктивная логика». Проф. Введенский. «Логика»).

Здесь нас могут интересовать только наиболее общие свойства дедуктивного умозаключения, как его понимает формальная логика. Дедуктивное умозаключение состоит из двух предпосылок и заключения. Подлежащее заключения называется меньшим термином, сказуемое заключения — большим термином, термин, который не входит в заключение, но содержится в посылках, называется средним термином.

Возьмем силлогизм; нам не нужно выбирать в качестве примера какого-либо остроумного и хитросплетенного вывода; нам достаточно самого избитого примера:

Все люди смертны,
Иван—человек.

Иван смертен.

В этом силлогизме «Иван» будет подлежащим заключения — в формальной логике этот термин обозначается обычно буквой «*S*» (от латинского слова «Subjectum»); термин «смертен», сказуемое заключения, обычно обозначается буквой *P* (от латинского слова Praedicatum), в посылках есть еще термин, который в заключении не имеется («люди», «человек»), этот термин, средний, в формальной логике обозначается буквой *M*.

Следовательно, схема расположения терминов этого силлогизма будет такова:

M	*P*
S	*M*
S	*P*

Легко показать, что термины в силлогизме могут быть расположены и не в таком порядке. Иногда можно переставить P на место M, S на место M, от перестановки терминов и их расположения будут зависеть так называемые фигуры силлогизма. Очевидно, что таких перестановок может быть четыре.

Кроме того, суждения в силлогизме могут быть не только общими и утвердительными, как в приведенном примере, но также и отрицательными и частными. В зависимости от наличия в силлогизме суждений общеутвердительных или общеотрицательных, частно-утвердительных или частно-отрицательных формальная логика насчитывает ряд модусов в силлогизме (до 19 правильных). Однако реальное значение принадлежит только одному модусу, в котором заключение имеет общеутвердительное суждение (так называемый модус Barbara первой фигуры). Ведь мы стремимся к положительному знанию, выраженному в общезначимых законах.

Мы не можем удовлетвориться суждениями отрицательного характера, хотя в практической жизни весьма велико значение борьбы против ложных утверждений, и потому достоверное знание отрицательное может иметь большое значение. Однако на одном отрицании остановиться ни в каком случае нельзя, необходимо добиваться положительного ответа на заданный жизнью вопрос. Равным образом не можем мы остановиться и на суждениях частных. Если мы знаем,

например, что не всякий совет хорош, то только весьма недоверчивый и трусливый человек не будет практически ни к кому обращаться за советом; зная, что не все советы хороши, мы будем стремиться к тому, чтобы научиться различать хорошие советы от дурных, избегать дурных советчиков и особенно ценить советчиков хороших. Только знание, обладающее общим характером, имеет значение как теоретическое, так и практическое.

К такому знанию мы постоянно стремимся. Все научные законы в так называемых точных науках находят свое выражение в общеутвердительных суждениях. Таковы, например, законы механики (закон инерции), законы оптики и акустики

Таким образом реальное значение имеет, строго говоря, только один модус первой фигуры.

Приведенный выше силлогизм: все люди смертны, Иван человек, Иван смертен, является примером такого силлогизма. Нужно признать, что как в науке, так в ежедневной жизни мы пользуемся подобного рода умозаключениями.

Обычно наша умственная деятельность и состоит в том, чтобы подвести разнообразные жизненные случаи под общий закон, и всегда, когда это нам удается, мы обретаем твердый исходный пункт для нашего предвидения и для нашей практики. Мы получаем разумную уверенность, что не ошибемся на избранном нами пути; потому так велико значение положительного знания, выраженного в общих законах.

Самым ярким примером того, как может быть использована дедукция в научных целях, может служить элементарная геометрия. Геометрия начинается с аксиом и определений, и все разнообразие развиваемых ею теорем может быть сведено к этим основным простым аксиомам и определениям. Геометрическое знание своей ясностью, простотой и наглядностью увлекало очень многих специалистов, и другие отрасли знания пытались строить по образу геометрическому. Эти попытки не прекращаются и до настоящего времени.

Но не только в науке мы можем усвоить ценность и значение дедукции; не меньшую роль дедукция играет в технике. Ведь современная техника тем и отличается от техники

первобытных народов, что она имеет строго-научную базу. Наука постоянно революционизирует современную технику и обеспечивает ей непрерывный и весьма быстро развивающийся прогресс. Техника машиностроения покоится на знании законов механических и электродинамических. Химическая технология обязана своим прогрессом быстрому развитию и успехами наук химических. Дело изобретателя и инженера сводится в конце-концов к тому, чтобы к частному конкретному случаю применить какой-нибудь общий достоверный физический или химический закон. Инженер-конструктор черпает знание общих законов из наук и применяет их к решению той или иной технической задачи: поэтому он принужден постоянно пользоваться дедукцией и не может обойтись без нее. Таково значение знания общих законов и общих отношений, что трудно его переоценить, и этим может быть объяснено, почему формальная логика, возникшая еще в древности, сохраняется в различных учебниках логики, почему различные логики делают все новые и новые усилия всячески реставрировать и подновить обветшавшее здание формальной логики. Такую попытку мы видим в настоящее время в так называемой математической логике, воскресившей с невиданной силой формализм, который, казалось, был окончательно преодолен более реальным подходом к вопросам знания.

Действительно, можно очень сомневаться в том, правильно ли понимает умозаключение формальная логика, правильно ли она истолковывает наше пользование общими законами.

Прежде всего невольно возникает вопрос, откуда мы обретаем это знание.

Элементарная геометрия начинается с аксиом и определений, но, спрашивается, откуда мы получаем уверенность, что эти аксиомы достоверны и эти определения реальны.

В средние века могла господствовать безраздельно силлогистика, ибо в то время были убеждены, что истина дана человеку (путем откровения), и задача науки сводится лишь к тому, чтобы раскрыть эту данную и сообщенную человеку истину. В настоящее время мы рассуждаем иначе: истина не дана, а задана нам. Мы постепенно приходим к высшим

обобщениям, они являются результатом научных исследований, а не их исходным пунктом.

При возникновении современной науки (в XVI—XVII в.) было очень распространено мнение, что аксиомы и высшие принципы знания прирождены человеку, однако справедливо указывалось, что прирожденность не может составить критерий достоверности и истины. К тому же с точки зрения современной науки очень трудно определить, что прирождено человеку и что не прирождено.

Можно вполне согласиться с критиками подобного способа рассуждения, указывавшими, что ссылки на аксиомы и определения свидетельствуют о лености ума (ignava ratio), который не хочет взять на себя труда доказательства.

Рассуждения из общих принципов характерны прежде всего для всевозможного догматизма мысли, довольствующейся застывшими положениями, избегающей живой деятельности. С этим догматизмом можно встретиться у людей самых разнообразных профессий и состояний. Этим догматизмом может отличаться ученый не менее, чем практик, следующий рутине своего ремесла. Характеризует этот догматизм боязливое отношение ко всякой подлинной критике, которая догматику представляется только разрушительной и вредной. Этот догматизм является живой противоположностью подлинной диалектике.

Особого рассмотрения в этой связи заслуживают соображения Милля против силлогизма, формулированные им в его «Системе логики» (кн. I, гл. III). По мнению Милля, во всяком силлогизме истинность большей посылки предполагает истину заключения. В вышеприведенном силлогизме «все люди смертны, Иван — человек, Иван смертен» предложение «Иван смертен» предполагается в более общем утверждении «все люди смертны».

В самом деле, как мы можем быть уверены в смертности всех людей, пока мы не уверились в смертности каждого отдельного человека; стоит нам усомниться, смертен ли Иван или другой человек, как мы станем сомневаться в утверждении «все люди смертны». Отсюда Милль выводит, что общее положение не может быть доказательством частного случая; более того, оно само может быть признано истинным только в том случае, когда рассеяна всякая тень сомне-

ния относительно каждого частного случая данного рода. Говоря иными словами, формальная логика рисует дело так, что истинность заключения зависит от истины большей посылки. Милль указывает, что истинность большей посылки зависит от истинности заключения.

На основе этой критики Милль пришел к тому выводу, что вообще заключение от общего к частному не существует, что истинной формой заключения является заключение от частных случаев к частным, что научная мысль основана на аналогии.

Нам не зачем следить дальше за Миллем; нужно признать, что его критика силлогизма во всяком случае глубоко проницательна и права.

Действительно, бóльшая посылка и заключение друг друга взаимно предполагают. Мы увидим в дальнейшем, что парадоксальное на первый взгляд утверждение может быть вполне оправдано диалектическою мыслью.

Во всяком случае совершенно неправильно выставлять против Милля то соображение, что он умалил или, вернее, игнорировал значение меньшей посылки. О меньшей посылке Милль действительно не говорит, но это не меняет дела по существу: отношение между большей посылкой и заключением остается таким, каким его очертил Милль.

II. Индукция.

Теории современной индуктивной логики представляют собою образчик не меньшего догматизма мышления, чем теория дедуктивного умозаключения.

Хотя у различных авторов индукция излагается различно, однако в основе своей все эти изложения восходят к основной теории, данной впервые в законченном виде Миллем, рассуждения которого поэтому могут быть названы классическими.

По замыслу Милля, целью индукции является создание правил умозаключения от наблюдавшихся фактов к тому, что лежит вне их сферы, к фактам ненаблюдавшимся.

Для того, чтобы подобное умозаключение могло претендовать на какую-либо достоверность, необходимо установить, чтó собственно имеют в виду, когда говорят о заключении от наблюдавшихся фактов; ведь факты никогда не

повторяются; по мнению Милля, повторяются одни и те же отношения между фактами, мы думаем, что одни и те же причины производят одни и те же следствия. Электрический ток, который разлагает воду сегодня на кислород и водород, будет и завтра разлагать ее. За сменой вещей Милль ищет постоянства отношений. И формулированные им методы индукции, которые составляют центр его исследования, являются, по существу, методами установления причинных отношений. Хорошо известна основная трудность установлений причинной связи: простую последовательность двух фактов мы склонны считать доказательством существования причинной связи между ними Можно сказать, что множество суеверий, основанных на различных «приметах», возникло именно таким образом: случайные совпадения здесь возведены в ранг общих законов природы. Под причиной Милль подразумевает то, что необходимо предшествует. Раз наступит явление *A*, служащее причиной, то должно наступить и явление *B*, как его следствие.

Милль перечисляет четыре основные метода установления причинной связи: 1) метод единственного различия, 2) метод согласия, 3) метод сопутствующих изменений, 4) метод единственного остатка.

Знакомство с методами Милля лучше всего начать с метода разницы или различия: он наиболее убедителен и наиболее часто встречается в научной практике.

Формулировка Милля гласит: «Если случай, в котором исследуемое явление встречается, и случай, в котором оно не встречается, одинаковы во всех обстоятельствах, кроме одного, и это одно встречается только в первом случае, то это единственное обстоятельство, в котором различаются данные два случая, составляет причину или необходимую часть причины явления».

Формулировка Милля грешит некоторой отвлеченностью, но зато более или менее точно описывает сущность этого метода. Предположим, мы имеем два случая: явление *X* возникло при обстоятельствах *ABC*, явление *X* не возникло при обстоятельствах *BC*. Отсюда мы сделаем заключение, что *A* есть причина явления *X*. Для иллюстрации применения этого метода можно привести ряд экспериментов, знакомых нам из физики. Под колокол воздушного насоса ставится

звучащее тело, например, электрический колокольчик. Пока там находится воздух, при ударах молотка по колокольчику возникает звук Теперь оставим все прежние обстоятельства без перемены, кроме одного: выкачаем воздух из-под колпака воздушного насоса. Теперь при ударах молотка звук не возникает: отсюда можно сделать вывод, что присутствие воздуха под колпаком составляет или причину или, по крайней мере, часть причины возникновения звука.

Этот метод весьма широко распространен в лабораторной практике; не меньшее значение он имеет и в обыденной жизни; когда мы убавляем огонь примуса под кипящим чайником, то в этом действии мы руководствуемся тем же методом разницы.

Метод согласия в формулировке Милля гласит: «Если два или более случаев исследуемого явления имеют общим только одно обстоятельство, то это обстоятельство, в котором одном сходны все случаи, составляет причину данного явления».

Предположим, мы имеем следующие наблюдения:

Явление	*X*	возникло	при	обстоятельствах	*ABCD.*
»	*X*	»	»	»	*ACDE.*
»	*X*	»	»	»	*ABDE.*
»	*X*	»	»	»	*ABCE.*

Отсюда мы сделаем заключение, что *A* есть причина или часть причины *X.*

Весьма трудно подобрать хороший пример употребления этого метода. Проф. Введенский приводит следующий пример, который можно признать относительно удачным. Один англичанин, задавшись вопросом, почему внутренние оболочки многих раковин имеют радужный отблеск, пришел к догадке, что радужный отблеск зависит только от строения поверхности внутренней оболочки, а не от ее химического состава или чего-либо еще. В доказательство он сделал из воска оттиск с поверхности внутренней оболочки, и оказалось, что, несмотря на все различия в других обстоятельствах (в химическом составе, происхождении и т. д), оттиск получил радужный отблеск. Однако этот метод редко практикуется в изолированном виде. Ведь метод сходства состоит в том, что нужно подобрать два или более случаев, которые имели бы общим только одно обстоятельство; одна-

ко на практике это сделать весьма затруднительно. Сопутствующих обстоятельств весьма много, до неисчерпаемости: пришлось бы прибегнуть к бесчисленному числу исключений, чтобы иметь право вывести заключение по этому методу. Гораздо проще поступить по методу разницы. Здесь мы включаем новое обстоятельство и следим за изменениями в изучаемом явлении; потом мы исключаем это обстоятельство и следим за тем, в чем изменилось изучаемое явление; правда, мы должны позаботиться о неизменяемости всех других обстоятельств, что также не легкая задача.

Можно не приводить дальнейших методов Милля: они являются, собственно говоря, лишь видоизменениями двух основных вышеприведенных методов. На первый взгляд предложенные Миллем методы крайне убедительны, подтверждаются научной практикой, давали и дают положительные результаты. Однако их логическое истолкование далеко не безупречно. В своих формулировках Милль явно допустил тот догматизм мышления, который является характерной чертой английского эмпиризма.

Разберем метод разницы, как наиболее совершенный из всех методов Милля. Если бы эксперимент когда-либо удалось свести к приведенной выше схеме, то едва ли что-нибудь возможно было возразить против этого метода. На самом деле это не так. Трудно получить уверенность, что обстоятельства, при которых мы изучаем данное явление, изменились только в чем-нибудь одном. Сами того не подозревая, мы можем ввести более чем одно изменение, или же, если между экспериментом, его началом и обнаружением следствия проходит некоторый промежуток времени, могут явиться другие факторы, уже помимо нашей воли и желания. Проф. Минто в своей «Логике» приводит ряд весьма показательных примеров. Человек, разгоряченный на полевой работе, выпивает холодной воды и падает мертвым. Несомненно, что стакан холодной воды здесь является причиной смерти, но, может быть, повлияло не количество и качество воды, а ее температура; ведь этот фактор тоже был введен в данное сочетание обстоятельств, равно как и известное количество частиц жидкости. Трудно, следовательно, сказать, что́ именно было здесь причиной.

Вернемся к нашей схеме этого метода.

Явление *X* возникает при обстоятельствах *ABCD.*

» *X* не возникает при обстоятельствах *BCD.*

Может ли действительность соответствовать этой схеме?

Во всяком случае нужно признать, что здесь допущена одна молчаливая предпосылка: действительность может быть проанализирована до конца. Обстоятельства, при которых совершается изучение явлений в схеме, перечислены немногими буквами, на самом же деле этих обстоятельств бесчисленное множество, и очень многие при данном положении обнаружены быть не могут. Не забудем, например, что такое явление, как динамическое электричество, было наблюдено только сто лет тому назад В настоящее время мы знаем, что весь земной шар является большим электромагнитом, по которому идут непрерывно электромагнитные волны. Научный анализ никогда не доходит до последних элементов, движение науки идет непрерывно и не знает остановок. Поэтому осуществить полностью схему Милля невозможно.

На самом деле схема Милля будет иметь несколько другой вид:

Явление *X* возникает при обстоятельствах *AУBCD.*

» *X* не возникает при обстоятельствах *BCD.*

Этот *У* и может служить подлинной причиной появления *X,* и *A* может здесь оказаться совершенно ни при чем. Никогда нельзя быть уверенным, что мы изучили сполна все стороны данного явления: эта задача лежит в бесконечности.

Миллевская индукция поэтому должна быть названа догматической попыткой построения теории умозаключения: она не может выдержать диалектическую критику.

Действительно, у Энгельса мы находим весьма резкую полемику против этого рода эмпиризма, который претендует на исключительную научность, как мы убедимся в дальнейшем.

III. Гегель о выводе.

Излагать учение Гегеля об умозаключении весьма трудно. Гегель, давая свои формулировки, не приводит почти никаких примеров, могущих в той или иной мере пояснить

его мысль. Кроме того, само изложение столь обременено переходами, чрезвычайно детальными, одного вида умозаключения в другой вид, что нужно было бы уделить весьма много страниц для того, чтобы дать исчерпывающий комментарий к немногим страницам его «Логики».

Несмотря на сложность и крайнюю запутанность в деталях теории вывода, все же основная мысль и тенденция Гегеля вполне ясны.

Учение Гегеля об умозаключении является развитием его учения о понятии. «Умозаключение есть вполне положенное понятие»; поэтому общая теория умозаключения повторяет основные моменты понятия: всеобщность, частность, единичность.

Понятие, как таковое, по Гегелю, прежде всего является чем-то общим, частное и индивидуальное в нем содержатся, но являются подчиненными.

В суждении момент частного утверждает себя и выдвигается на первый план.

Само умозаключение, являясь единством понятия и суждения, соответствует индивидуальному. В умозаключении моменты понятия выявлены сполна и примирены между собою; поэтому умозаключение и есть «положенное понятие».

Гегель различает три основных типа вывода: 1) умозаключение существования (или умозаключение качества), 2) умозаключение рефлексии, 3) умозаключение необходимости. Переход вывода из одного вида в другой повторяет движение понятия от пустой абстракции высшего рода к конкретной полноте, содержащей в себе все возможные разнообразия. Этот переход совершается через различные опосредствования моментов понятия, единичного, частного и всеобщего, которые у Гегеля заступают место терминов. Эта последняя мысль и является у Гегеля наиболее интересной и оригинальной. В самом деле, обычная силлогистика представляет собою внешнее сочетание готовых понятий-терминов. Для силлогизма необходимо, чтобы термины были налицо; силлогизм представляет сочетание этих терминов в своих различных фигурах и модусах. Однако подобная концепция, как мы видели, не может выдержать критики. Прежде всего неясно, откуда берутся сами термины больший, меньший, средний: научные понятия не сваливаются в гото-

вом виде с неба, они являются продуктом сложного процесса познающей научной мысли, понятия суть результаты умозаключений, а не простые составные их части. Поэтому не только силлогизм предполагает термины, но и самые термины—силлогизм. Во-вторых, в формальной логике также по существу не решается вопрос о взаимоотношениях и связи терминов между собой. Явно недостаточно сказать, что умозаключение является комбинацией из терминов, их сочетанием. При таком понимании ускользает само существо дела, становится мало понятным, как, когда и кем эта связь устанавливается, в чем она состоит. Гегель, который понимает термины умозаключения, как его моменты, во всяком случае вернее определяет самый вопрос, чем формальная логика. Термины взаимно себя опосредствуют, нельзя мыслить себе меньший термин вне связи с общим и средним и обратно. Эта связь существенна для процесса умозаключения, и без нее нельзя понять природу умозаключения.

На своем несколько непривычном для современного читателя языке Гегель выражает так эти мысли: «Умозаключение можно рассматривать состоящим из простых отвлеченных определенностей. В этом случае мы будем иметь умозаключение рассудка, в этом умозаключении «разумное незаметно». В таком умозаключении налицо единство крайних терминов и связующий их средний термин. Однако отвлеченный рассудок удерживает самостоятельность крайних терминов и противополагает им единство. Поэтому при рассудочном (недиалектическом) понимании умозаключения единство понимается скорее как неединство. Само выражение «средний термин» взято из пространственного представления и с своей стороны способствует тому, чтобы термины оставались один вне другого: благодаря этому «существенным отношением умозаключения делается не единство». Нет «разумности» в подобном понимании умозаключения.

Переходя к характеристике видов умозаключения, нужно признать, что самым трудным является первый: по терминологии Гегеля — умозаключение наличного бытия. По характеристике Гегеля, термины этого умозаключения суть «единичные определенности». Единичность есть какой-нибудь непосредственный конкретный предмет, частность — нечто единичное из его определенностей, свойств или отно-

шений, общность — опять-таки некоторая еще более отвлеченная, более единичная определенность частного Поэтому основной схемой подобного умозаключения будет *Е—Ч—В* (единичное, частное, всеобщее). Труднее, чем представить схему подобного умозаключения, дать конкретный его пример. Вполне справедлив вопрос, поставленный Тренделенбургом, может ли вообще существовать силлогизм непосредственного бытия. Разве возможно умозаключение, которое захватывает только одни чувственные данности вне всякого всеобщего? Тренделенбург это решительно отрицает, и потому, по его мнению, «умозаключение непосредственности совсем лишнее и, строго говоря, невозможное образование».

Однако, если мы попытаемся ближе вникнуть в смысл слов Гегеля, естественные недоумения могут рассеяться. У самого Гегеля мы можем найти подходящий и разъясняющий пример умозаключения наличного бытия. Картина зелена, зеленое приятно, картина приятна. В этом умозаключении от единичного мы, через средний термин, идем к общему. В предмете открывается признак, у этого признака констатируется свой признак, на основании этого мы заключаем, что признак признака есть признак самой вещи.

По существу недоразумения Тренделенбурга должны быть разрешаемы в связи с другим вопросом: какова аксиома силлогизмов: обычно говорят, что аксиомой силлогизма является так называемое dictum de omni et de nullo: «все, что утверждается или отрицается относительно целого термина, утверждается или отрицается и относительно всего, что входит в объем этого термина». Существует и другой взгляд, отвергающий эту аксиому, как наследие схоластики Согласно этому взгляду аксиома силлогизма должна гласить: признак признака есть признак самой вещи. Гегель явно в этом силлогизме наличного бытия стоит на точке зрения второй аксиомы, которая вполне выражает схему Гегеля — вещь, ее признаки, признаки признаков.

Тренделенбург полагает, что если вышеприведенное умозаключение Гегеля имеет силу, то оно должно быть истолковано следующим образом: эта картина зелена, все зеленые вещи приятны, эта картина приятна. Однако подобное толкование Гегель отверг бы, это не было бы по его схеме

умозаключением наличного бытия. Средним термином здесь должен быть именно отвлеченный термин, а не родовое понятие [1]); зеленое, а отнюдь не класс зеленых вещей.

Читатель, может быть, найдет, что это слишком тонкое различие, но надо помнить, что здесь дело идет именно о логических тонкостях, иначе мы рискуем весьма худо понять теорию Гегеля. Если мы допустим эти различия, то нам будет вполне ясна проницательная и остроумная критика умозаключения наличного бытия, производимая Гегелем.

Если мы будем из многих частей или свойств выдвигать на первый план то одно, то другое, отвлекаясь от всего остального, то мы можем доказать все, что угодно. Единичное имеет бесконечное множество самых различных свойств, из них каждое может образовать для этого единичного средний термин умозаключения. Через каждый другой средний термин единичное сочетается с некоторым другим общим. По существу совершенно случайно и произвольно, какое берется из многих свойств вещи и с каким из них оно связывается в некотором предикате; благодаря этому умозаключение, касающееся одного и того же субъекта, должно переходить в противоречие, таков весьма проницательный и глубокий вывод из теории Гегеля. Здесь с наглядностью изобличена ложность рассуждений из отвлеченных понятий, к чему так часто прибегают как в практической жизни, так и в теоретических спорах.

Если мы будем, исходя из среднего термина, согласно которому стена окрашена в синий цвет, заключать, что стена синяя, то формально это заключение будет правильно, но, несмотря на это, стена может быть зеленой, если ранее она была окрашена в желтый цвет.

Из среднего термина «социальности» можно вывести общность имущества граждан, из среднего же термина индивидуальности, если пользоваться им столь же отвлеченно,

---

[1]) Проф Минто проводит следующее различие между термином общим и термином отвлеченным Общее имя есть имя, прилагаемое к неопределенному числу вещей на основании какого-нибудь сходства между ними. Таковы слова. семья, плательщик податей и т д. Отвлеченное слово и абстрактное имя есть название признака, который мыслится сам по себе, без отношения к какому-нибудь определенному предмету или классу, обладающему этим признаком.

вытекает распадение государства, что и последовало, напр., в германской империи, так как относительно нее придерживались последнего среднего термина.

«Поистине, — говорит Гегель, — ничто не может считаться более несостоятельным, чем такое формальное умозаключение, так как оно зависит от случая или произвола в употреблении того или иного среднего термина. Как бы прекрасно ни протекала такая дедукция через умозаключение и как бы ни убедительна была ее правильность, она по меньшей мере не приводит ни к чему, так как всегда остается возможным, что есть другие средние термины, из коих столь же правильно может быть выведено совершенно противоположное».

Переход Гегеля от умозаключения непосредственного существования к другим видам умозаключения, к умозаключению рефлексии и умозаключению необходимости, не может вызвать существенных затруднений. Этот переход, как я уже сказал, будет следовать развитию понятия. Средним термином в умозаключении наличного бытия являлся какой-нибудь конкретный признак, бóльшим термином — также некоторый более общий признак, меньшим термином являлся конкретный предмет, который представлял собою прежде всего бесконечное многообразие свойств.

Движение умозаключения будет развиваться, поскольку средний термин перестанет быть пустой отвлеченностью, поскольку наполнится содержанием, получит полноту определения, и поскольку меньший термин перестанет быть лишь бесконечным многообразием, но получит определенное единство. При этом нужно иметь в виду, что тот и другой процессы не должны пониматься один оторванным от другого, а, напротив, в теснейшей взаимной связи; не забудем, что по Гегелю меньший, средний и больший термины являются по существу неразличимыми терминами и лишь моментами «единого положенного понятия». Смысл утверждения Гегеля в самых кратких словах таков: через умозаключение понятие получает расчленение, диференцированное единство и содержательность.

Наиболее близким и понятным может стать для современного читателя «умозаключение рефлексии». В этом разделе Гегель описывает и весьма проницательно критикует

собственно всю современную логику, как она обычно излагается в современных руководствах по логике.

Обычно, как я уже говорил, противополагают дедукцию индукции, чтобы опять их соединить. Ведь только из опыта можно почерпнуть знания наиболее общих и руководящих принципов, и, следовательно, предпосылкой дедукции является индукция. С другой же стороны, невозможно ограничиться одной только индукцией. Наши знания с их развитием объединяются; приобретают форму системы; развитие наук приводит к торжеству дедукции. Это противоречие мы прежде всего можем найти у Милля, нужно изумляться только тому, насколько Милль в своей «Логике» повторяет основы идеи умозаключения рефлексии Гегеля. Однако весьма трудно доказать, что Милль непосредственно черпал у Гегеля, которого знал весьма мало, насколько можно судить по его сочинениям, но в то же время основная диспозиция у Милля в его учении о выводе совпадает с гегелевской дедукцией. И у Милля, как у Гегеля, дедукция основана на индукции, а индукция на аналогии.

В качественном умозаключении средний термин являлся отвлеченным признаком. В вышеприведенном примере средний термин был «зеленое», теперь же эта отвлеченность получает содержание: все зеленые предметы, этот термин получает «большую конкретность». Теперь берутся все действительные конкретные предметы наиболее зеленые, берутся как конкретные, со всеми их свойствами, какие только присущи им независимо от их зелености. Таково умозаключение всячества (der Allheit).

Но подобное умозаключение явно недостаточно. Бóльшая предпосылка сама уже предполагает заключение, основанием которому она должна служить. Задолго до Милля и в полном с ним согласии Гегель говорит, что в заключении «все люди смертны, Иван — человек, Иван смертен» первая посылка правильна лишь потому и постольку, поскольку правильно заключение: «Если бы случилось так, что Иван не был бы смертен, то первая посылка была бы неправильной».

Умозаключение всячества переходит в умозаключение наведения. Однако наведение, или индукция, не может дать строгой законченности; необходимо итти от одного опыта

к другому без надежды когда-нибудь исчерпать ряд опытов, поэтому и «заключение наведения остается проблематическим»; на самом деле в основе умозаключения индуктивного лежит заключение по аналогии. Если подобная аналогия поверхностна, то можно получить лишь заблуждение. Если она действительно глубоко подмечает сходство между различными вещами, то аналогия указывает на более общий закон, который она предчувствует, но не может открыть и выразить. Не забудем, что мы обязаны всем наиболее смелым открытиям в науке аналогии.

Наконец, в третьем виде умозаключений, в умозаключении необходимости, средний термин получает, по мнению Гегеля, истинную всеобщность в гегелевском смысле, т.-е. общее, не противопоставленное частному и единичному, а в себе включающее и содержащее их.

В этом умозаключении «дана одна проникающая три термина сущность, в которой определение единичности, частности и общности суть лишь формальные моменты». Высшим типом подобного умозаключения является разделительное умозаключение.

A есть или *B* или *C* или *D*.
A есть *B*

Следовательно, *A* не есть *C* или *D*

или:

A есть или *B* или *C* или *D*,
но *A* не есть ни *C*, ни *D*.

Следовательно, *A* есть *B*.

Легко видеть, почему Гегель так высоко ставил разделительные умозаключения. В них с наибольшей точностью выступают все три момента понятия: общность (*A*), частность (*B*, *C*, *D*), которая поставлена в непосредственную связь с общим, и единичность, поскольку всякая частность в данном случае мыслится с исключением других.

В этом умозаключении понятие таким образом сполна реализовалось.

IV. Опыт и теория.

Если подытожить учение Гегеля об умозаключении, то прежде всего придется сказать, что для современной научной мысли оно неприемлемо. Как мы видели, учение Гегеля о выводе является в сущности развитием его учения о понятии. Последнее же имеет явно идеалистический и метафизический характер. Точно так же и умозаключение у Гегеля является одной из категорий в развитии абсолютной идеи, и хотя оно и относится у Гегеля к субъективной логике, однако эта субъективная логика не имеет ничего общего с «конечным познанием», поэтому сама установка учения Гегеля об умозаключении весьма существенно отличается от тех установок, которых мы в праве ожидать от научной логики. Гегель помещает умозаключение в систему абсолютно завершенного познания, в то время как обычно мы понимаем логику как науку о законах мысли, как они выражены в развитии науки, которая никогда не может быть завершена.

Этот метафизический характер учения Гегеля об умозаключении наиболее характерен для самого Гегеля и в то же время наиболее чужд современному научному мышлению.

При всем том, однако, отнюдь нельзя думать, что гегельянская теория умозаключения имеет только исторический интерес. Напротив, можно сказать, что и диалектика в современном ее понимании может развить свое учение об умозаключении, опираясь только на Гегеля, которого, конечно, и здесь необходимо поставить с головы на ноги.

Наиболее ценными моментами учения Гегеля об умозаключении можно считать следующее:

1. Термины и суждения в умозаключении находятся в необходимой связи друг с другом, они друг друга взаимно предполагают.

2. Само умозаключение есть процесс, который ведет к единству мысли и дает ей содержательность.

Диалектическая логика может только согласиться с этими основными положениями в теории умозаключения, но тем самым она оставляет уже далеко позади себя обычные рассуждения о дедукции и индукции, которые наполняют современные учебники логики.

Если попытаться теперь, отправляясь от общедиалектических принципов, установить в наиболее существенных чер-

тах теорию умозаключения, могущую быть приемлемой для современной научной диалектики, то мы должны будем сказать приблизительно следующее. Нужно признать, что раскрыть природу диалектического вывода—весьма сложная и трудная задача. Нигде в литературе этот вопрос не освещен как следует и с достаточной полнотой. Во многом нам придется итти непроложенными путями, тем более строго мы должны руководиться основными принципами научной диалектики, чтобы не сбиться с пути.

Прежде всего необходима правильная установка на познание. С точки зрения диалектики мы должны всегда рассматривать познание в его развитии, в его динамике. Мы должны рассматривать познание как процесс. Но для того, чтобы усмотреть основные элементы этого процесса, основные диалектические силы в нем, нам необходимо взять в разрезе этот поток научного познания.

Если мы поступим так, то мы найдем всегда две стороны, наличествующие в нем: ту или иную гипотезу и тот или иной опыт. Нужно оговориться, что здесь термин гипотеза употреблен не в том значении, которое популярное сознание придает этому термину. Обычно знание считается гипотетическим, когда оно является только предположительным, не сполна доказанным и потому сомнительным; гипотеза перестает быть гипотезой в том случае, когда она получает полное подтверждение и обоснование. Так, например, если мы на основании изучения «Логики» Милля создадим гипотезу, что Милль в ней хотел дать метод для исследования по общественным вопросам, то эта гипотеза перестанет быть таковой, когда мы ознакомимся с письмом Милля к Каролине Фокс, в котором он ясно выразил это свое намерение. Здесь термин гипотеза берется в несколько ином значении — в смысле теории и основного принципа. Можно высказать утверждение, что на всяком этапе развития науки мы имеем известный опыт и известную гипотезу, т.-е. теорию, его объясняющую. Можно спросить себя, как относятся между собой опыт и теория опыта.

Прежде всего совершенно очевидно, что всякая теория возникает из опыта; это основное эмпирическое утверждение одно лишь возможно в современной науке; наши знания возникли опытным путем, они не порождаются нами,

не врождены нам и не получаются путем развития абсолютной идеи. Для материалистической диалектики основная эмпирическая установка является обязательной, материалистическая диалектика чужда идеалистического рационализма. Всякая теория есть в известном смысле надстройка над известным опытом. Но если всегда теория обусловлена опытом, то нельзя ли сказать и обратное: что всякий опыт обусловлен теорией. Вот большой и принципиальный вопрос, влияют ли наши гипотезы и наши теории на опыт. Можно ли расторгнуть эти две части и рассматривать опыт вне гипотезы и теорий? Можно показать, что подобное утверждение было бы не диалектическим и не отвечало бы действительности.

В самом деле, если мы будем рассматривать научный опыт, то мы скоро убедимся, что он пронизан гипотетическими элементами. Одним из самых ярких примеров является спектральный анализ. Опытные данные здесь стали возможны только через достижения теории в оптике. Спектральный анализ является опытом, пронизанным и насыщенным теорией. Самым простым и непосредственно убедительным примером, который здесь может быть приведен, является опыт с микроскопом и телескопом. То, что я вижу в микроскоп, является опытом, но этот опыт возможен только на основании теории; если бы не было теории, на основе которой сконструирован микроскоп и телескоп, то не было бы и соответствующего опыта, человечество не могло бы видеть того, что видит сейчас.

Эта мысль может показаться тривиальной. Ведь обычно опыт, если его понимать строго и точно, как эксперимент, тем и отличается от пассивного наблюдения, что опыт является проявлением некоторой нашей активности по отношению к природе; экспериментируя, мы постоянно действуем, учиняем допрос природе, как говорили раньше, вводим самые различные факторы, изменяющие течение наблюдаемого явления. Если мы спросим себя, в чем же состоит экспериментирование, как оно производится, то в нем мы всегда откроем некоторую гипотезу, некоторый домысел, который и руководит нами при истолковании данного опыта. Никто не экспериментирует без определенного плана и определенной цели; если эксперимент и можно действительно в чем-

либо сравнить с допросом судебного следователя, то главным образом в том отношении, что следователь ставит обвиняемым свои вопросы в целях проверки предположенного, что он стремится подтвердить или опровергнуть свои подозрения. Во всяком случае целесообразный характер постановок вопросов следователем вполне очевиден, точно так же и естествоиспытатель при своем допросе природы исходит из известных предположений, и эксперимент является проверкой этих предположений.

Таким образом оба момента, момент теоретический и момент опытный, одинаково необходимы.

Благодаря этому совершенно иначе сочетаются в диалектическом выводе дедукция и индукция: они более не противостоят друг другу, а являются необходимыми восполняющими друг друга моментами. В недавно опубликованной работе Энгельса «Диалектика природы» можно найти ряд мест, подтверждающих эти общие соображения.

Примат бытия в материализме, казалось бы, должен был делать близкими к нему и теоретиков индукции, однако у Энгельса мы находим самую резкую критику «всеиндуктивистов». «По мнению индуктивистов, — пишет Энгельс (59 стр.),—индукция является непогрешимым методом. Это настолько неверно, что ее якобы надежнейшие результаты ежедневно опровергаются новыми открытиями» В подтверждение своих слов Энгельс приводит ряд примеров: «Индукция учила нас, что все позвоночные животные обладают диференцированной на головной и спинной мозг центральной нервной ситемой и что спинной мозг заключен в хрящевых или костных позвонках, откуда заимствовано даже название этих животных, но вот появляется амфиокс — это позвоночное животное с недиференцированным центрально-нервным канатиком и без позвоночников. Индукция установила, что рыбы — это те позвоночные животные, которые всю свою жизнь дышат исключительно жабрами. И вот обнаруживаются животные, которых почти все принимают за рыб, но которые обладают, на ряду с жабрами, хорошо развитыми легкими, и оказывается, что каждая рыба имеет в своем воздушном пузыре потенциальные легкие»...

Если бы индукция была действительно столь непогрешимой, то откуда взялись бы эти бесконечные перевороты

в классификации представителей органического мира. Они являются самым подлинным продуктом индукции и однако они уничтожают друг друга.

Обычная теория индукции глубоко ошибочна, и одностороннее утверждение индукции может вести только к ряду заблуждений. Поэтому Энгельс противопоставляет теории индукции самый «индуктивный процесс». Его анализ показывает, что индукция и дедукция связаны между собой столь же необходимым образом, как синтез и анализ. «Вместо того, чтобы превозносить одну из них до небес за счет другой, лучше стараться применять каждую на своем месте, а этого можно добиться лишь в том случае, если иметь в виду их связь между собой и их взаимное дополнение друг другом».

Эти мысли Энгельса с особой отчетливостью показывают, что односторонний узкий эмпиризм глубоко чужд, как метод, диалектическому материализму.

Для мышления необходимы логические определения, — указывали мы раньше, — поэтому ограничиться лишь опытом пассивным, описанием без работы понятия над этим опытом, значило бы отказаться от диалектики в мышлении.

То, что нам пришлось констатировать при анализе теории понятия у Маркса, — определенный рационалистический момент, теперь повторяется снова Энгельсом, но применительно к теории выводов.

Мы уже видели, что Маркс восставал против учений, ссылающихся на «видимость явлений противу законов явлений», и что именно на выявление этих законов была направлена мысль Маркса. Тогда дело шло о законах политической экономии, которую Маркс подверг рационалистической обработке. Энгельс применяет этот метод к естествознанию. Весьма примечательно в этом отношении одно рассуждение Энгельса. «Термодинамика, — говорит он, — дает замечательный пример того, насколько неосновательны претензии индукции быть единственной или хотя бы главной формой научных открытий. Паровая машина издавна служила доказательством того, что можно из теплоты получить механическое движение. Когда Сади Карно взялся за изучение паровой машины, он нашел, что в ней основной процесс не выступает в чистом (курсив Энгельса) виде и заслонен

всякого рода побочными процессами Карно устранил эти ненужные для главного процесса побочные обстоятельства и создал идеальную паровую машину (или газовую машину), которую так же нельзя построить практически, как нельзя, например, провести практически геометрическую линию или поверхность, но которая оказывает по-своему такие же услуги, как эти математические абстракции: она представляет рассматриваемый процесс в чистом, независимом, неприкрытом виде».

Этот пример показывает, что индукция недостаточна, что наблюдение и опыт не дают нам никогда процессов в чистом независимом, неискаженном виде, что всякий естественно-научный закон являет собой как бы некоторое предельное, а отнюдь не фактическое состояние, что для получения закона мы должны соответствующим образом обработать опыт понятием, расчленить его «аналитически», что опять-таки невозможно без работы понятия.

Поэтому чистый эмпиризм, будучи повидимости очень точным и фактичным, на самом деле лишь может создать лженауку или заставить науку свернуть на ложный путь. К этому выводу Энгельс приходит, рассматривая бывшие столь модными сеансы спиритов. Спиритизмом увлекались не только «люди из общества», но и ряд крупных ученых, у нас, например, знаменитый химик Бутлеров, зоолог Вагнер. Энгельс в своей остроумной и глубоко проницательной статье показывает, что это увлечение глубоко не случайно: «Мы убедились, — пишет Энгельс, — каков самый надежный путь от естествознания к мистицизму. Это не натур-философская теория со всеми ее уродливостями и чрезмерностями, а самый плоский, презирающий всякую теорию, относящийся недоверчиво ко всякому мышлению эмпиризм».

«Существование духов доказывается не на основании априорной необходимости, а на основании результатов опытных наблюдений господ Уоллеса, Крукса и компании».

Спиритические явления столь же достоверны, как и явления материального мира, — вот основной тезис этих эмпириков. Критическая мысль не имеет в их глазах никакой цены, ибо они привыкли не доверять мысли. Нужно ли говорить о том, что современный эмпиризм, более радикальный, чем эмпиризм 70-х годов, эмпиризм Маха, Авенариуса, а в осо-

бенности прагматизм, идет в этом иррационализме еще дальше, и в результате мы имеем «плюрализм» Джемса, в котором самым грубым суевериям приписывается достоверность такая же, как и наблюдениям самой точной науки.

«Презрение к диалектике не остается безнаказанным сколько бы ни выказывать пренебрежения ко всякому теоретическому мышлению, все же невозможно без последнего связать между собою любые два естественных факта или же уразуметь существенную между ними связь...».

«Пренебрежение к теории является, само собой разумеется, самым надежным способом мыслить натуралистически и, значит, неверно. Но неверное мышление, доведенное до конца, приводит неизбежно к давно известному диалектическому закону: к противоречию со своим исходным пунктом. И таким образом эмпирическое презрение к диалектике наказывается тем, что немногие из самых трезвых эмпириков становятся жертвой самого дикого из всех суеверий».

Таков естественный конец одностороннего и антинаучного эмпиризма.

Выше я говорил, что гипотеза и опыт всегда друг друга предполагают и друг на друга указывают, однако недостаточно указать на их взаимное согласие, нужно также сказать об их различии и противоречии. Гипотеза в лучшем случае может дать лишь схему опыта, но гипотеза остается отвлеченной, а опыт всегда конкретен. Поэтому совершенно невозможно думать, что опыт и гипотеза когда-нибудь в состоянии друг друга покрыть, если приложить к ним термин наложения некоторых махистов, что гипотеза и опыт совпадают.

Изучая какой-нибудь газ, например, кислород, физик рассматривает его, как одну из совершенных жидкостей, изучаемых в механике, имеющую определенную плотность, определенную температуру и находящуюся под определенным давлением.

Устанавливая между этими тремя элементами определенное соотношение, физик тем самым устанавливает общий закон сжатия и расширения кислорода. Однако этот закон при ближайшем рассмотрении оказывается неверным или верным только приблизительно и не всегда.

Поместим кислород между двумя пластинками сильно заряженного электрического конденсатора. В этом случае отношение между плотностью, температурой и давлением газа изменяется. Ранее при характеристике газа принимались во внимание только его плотность, температура и то давление, под которым он находится, теперь необходимо включить свойства кислорода, как диэлектрика. Введя это новое условие, мы получим новую формулу сжимаемости диэлектрически поляризованного газа. Это закон гораздо более сложный, чем прежний; прежний входит в него, как частный его случай.

Однако, этот новый закон далеко не совпадает с опытом во всем его многообразии. Новый закон не во всех случаях окажется истинным, эксперимент в ряде случаев подтверждает его, но в ряде случаев его опровергает.

Недостаточно, чтобы газ имел определенную плотность, известную температуру, чтобы он обнаруживал известные диэлектрические свойства, чтобы на него производилось известное давление и чтобы он находился в электрическом поле определенной интенсивности; нужно принять во внимание известный коэффициент намагничивания. Объединив все эти элементы в одну группу формул, мы получим закон сжатия и расширения поляризованного и намагниченного газа Мы получим закон еще более сложный, но более многообъемлющий, чем прежний.

Этот закон подтверждается в бесчисленном множестве случаев, в которых те не подтверждались, но разве можно сказать, что формулы, добытые нами, останутся неизменными, вполне совпадают с опытом и действительностью? Мы должны предвидеть день, «когда окажутся налицо условия, при которых и этот закон, в свою очередь, будет опровергнут. Тогда придется создать новый, еще более всеобъемлющий закон». Хороший образ, иллюстрирующий все вышесказанное, приводит Дюгемг: «Созданный теорией, — говорит он, — математический символ пригнан к действительности, как рыцарские доспехи к телу рыцаря. Чем сложнее эти доспехи, тем боле гибким, как будто, становится твердый металл. Чем больше число частей, покрывающих его тело, подобно чешуе, тем совершеннее контакт между сталью и телом.

Тем не менее, как бы ни было велико число частей, никогда доспех не станет точной моделью человеческого тела».

Таким образом мы видим, что между гипотезой и опытом существует не только согласованность, но есть и определенное различие, которое обнаруживается весьма определенным образом: опыт опровергает первоначальные общие формулировки, противоречит им, и это противоречие является причиной изменения закона, в результате чего мы получаем новую формулу, одновременно и более содержательную и более всеобъемлющую. Если мы постараемся это изменение закона выразить на отвлеченном языке логики, то мы получим формулу, весьма близкую к тем, которые мы знаем из учения Гегеля о противоречии, о понятии и об умозаключении.

В самом деле, мы можем обозначить первоначальный вид закона через символ *A*; тогда опыт, который будет соответствовать этому закону, должен быть представлен как не-*A*, поскольку этот опыт не укладывается в общую формулировку закона и не соответствует ей.

Однако это *A* и не-*A* не могут быть рассматриваемы изолированно. Напротив, они друг друга предполагают и друг на друга указывают. В нашем случае свойства кислорода, как диэлектрика, удалось установить только на основе изучения его свойств при известном давлении, температуре и плотности. Это не-*A* поэтому вовсе не является неопределенным отрицанием, а отрицанием вполне определенным: это новые свойства того же самого кислорода, нами уже изученного.

В результате этого противоречия мы будем иметь отрицание отрицания в новой формуле закона. Эта формула как раз подтверждает учение Гегеля о том, что содержание и объем понятий прямо пропорциональны, как учит формальная логика. Новая формула более содержательна и в то же время включает большее количество частных случаев.

С точки зрения формальной логики следовало бы рассуждать приблизительно следующим образом.

Согласно закону исключенного третьего, первоначальная формула нашего закона может быть только истинной или не истинной, так как опытные данные эту формулу в

известных случаях не подтверждают, то эта формула неправильна.

Оставаясь на почве формальной логики, мы пришли бы к чистому отрицанию, и исследовательскую работу пришлось бы начинать сначала, чтобы снова притти к скептическому результату На самом же деле мы имеем нечто совершенно иное. Тезис отвергнут фактами, но он в то же время и сохранился, новая формулировка включила в себя прежнюю формулировку, равным образом и антитезис послужил основой для постановки новой формулировки и таким образом подтвержден в окончательном выводе, но в то же время подвергся отрицанию, ибо в окончательном выводе мы снова вернулись в первоначальной формулировке, только дополненной и расширенной; таким образом процесс вывода, по существу, получает диалектическую форму: он и отрицает и подтверждает, при чем утверждение является именно отрицанием отрицания, которое, как мы видели выше, и является, собственно, выражением и развитием знания.

Если мы попытаемся представить в более развернутом виде результат нашего анализа, то мы будем иметь приблизительно следующую схему процесса вывода: мы брали первоначально в разрезе поток научного познания Мы констатировали в нем две полярности: известную гипотезу и опыт, соответствующий ей. Если мы возьмем следующий момент в развитии научной мысли, мы увидим новую гипотезу и новый изменившийся опыт, ей соответствующий.

Следовательно, чтобы понять природу вывода, нужно определить, каким образом произошло: 1) изменение опыта, 2) изменение гипотезы. Мы видели, что движущей причиной изменения как опыта, так и гипотезы является противоречие, противоречие, которое обнаруживается между опытом и гипотезой. На основе гипотезы для ее проверки ставится опыт, и в процессе экспериментирования приходят к установлению факта, который не подтверждает первоначальную гипотезу в том виде, как она формулирована. Установление этого решающего факта, однако, стало возможным только на основе гипотезы, а отнюдь не независимо от нее. Противоречие, стало быть, является в основе различием, сопряженным с тождеством, с которым мы знакомы из I главы.

Этот новый опыт и определяет изменение гипотезы: новая гипотеза не может быть произвольно выбранной, она связана с опытом, который вышел из прежней гипотезы, поэтому новая гипотеза является, в силу необходимости, отрицанием отрицания, а не независимым, ничем не опосредствованным измышлением. Таким образом мы будем иметь ряд: гипотеза—опыт—гипотеза—опыт. При чем движущей причиной всегда будет служить противоречие, которое имеет опыт с гипотезой: опыт, его свойства, его полнота поэтому являются постоянным источником обогащения нашего теоретического знания.

Но точно так же это знание можно иметь только через работу понятий. нигде не встретим мы «чистого опыта» в смысле Маха и Авенариуса, а всегда опыт, опосредствованный и измененный нашей активностью, которая находит себе выражение в наших гипотезах, на основе которых мы производим наши опыты.

Этим мы могли бы закончить характеристику природы вывода, однако этим не дается исчерпывающая характеристика. Мы определили лишь «полярности вывода», наиболее общий дедуктивный момент и наиболее конкретный индуктивный момент. Между этими полярностями, собственно, и происходит развитие мысли.

Мы показали лишь то, что «умозаключение поляризуется на индукции и дедукции», как говорит Энгельс («Диалектика природы», стр. 183), что в каждом умозаключении есть момент общего и момент конкретного, опытного, индивидуального. Но мы оставили без рассмотрения то, что обычно в логике называется меньшей посылкой, — момент видовой, по терминологии Гегеля. Этот момент играет в процессе умозаключения существенную роль, ибо он, собственно, и опосредствует бóльшую посылку с заключением. Можно сказать также, что им достигается все богатство форм умозаключения, которое далеко не исчерпывается тем, что известно под именем дедукции и индукции.

Выше я указывал, что движущей причиной умозаключения является противоречие. Мы уже знаем назначение и смысл противоречия: оно указывает прежде всего на различия. Первоначальная гипотеза, по отношению к опыту, являет всегда пустую общность; противоречие ее с опытом

обнаруживает в нем различия, которые требуют объединения более содержательного, и таким образом мы видим, что умозаключение идет от пустого общего к содержательному общему, через установление определенных различий в нем; меняется также и самый опыт: вместо неопределенного он становится расчлененным, многообразным, и это многообразие не распадается бессвязно, но находит себе выражение в едином содержательном обобщении. Таким образом мы видим, что путь умозаключения сложен, что умозаключение вовсе нельзя втискивать в индукции или дедукции. Снова мы возвращаемся к Гегелю, теперь его формулы, которые раньше могли казаться неприемлемыми, становятся весьма поучительными.

Умозаключение есть процесс, который имеет ряд моментов, каждый из этих моментов есть в свою очередь умозаключение.

Несомненно, что заслуга Гегеля здесь в том, что он обратил внимание на «богатство форм умозаключения», как говорит Энгельс, на взаимную их зависимость, и в основном правильно определил развитие мысли в процессе умозаключения.

Полная исчерпывающая теория умозаключения в материалистической логике никем не создана, но те немногие соображения, которые были высказаны выше, мне кажется, могут достаточно убедить, что определенный фундамент для теории вывода заложен Гегелем и что подобная теория может быть создана путем некоторой замены идеалистических предпосылок этой теории соответствующими материалистическими.

V. Вывод и историзм.

Вышеизложенные соображения приводят нас к очень важному выводу: они указывают, что историзм является существеннейшим методом всякой научной мысли, что никакая теория не может сама по себе стать достоверной, что она становится таковой лишь в том случае, если она будет пониматься как известный момент в развитии научной мысли. Изолированное ее рассмотрение заводит в тупик, теория в этом случае не может быть обоснована рационально.

К сожалению, обычно так не поступают, обычно указывают на факты и дают теоретическую дедукцию этих фактов. Мы уже видели, что этот метод не может быть убедительным, мы вращаемся в порочном кругу. Научные факты не нейтральны к научной теории, они от нее зависимы и неотделимы. Теория, с другой стороны, в этом случае превращается лишь в упорядоченную схему фактов, при чем сразу становится очевидным, что подобных схем очень много, что можно создать очень много диаметрально противоположных теорий одного и того же факта, при чем выбор их как будто зависит от нашего произвола.

В этот тупик упираются наиболее остроумные теории современной науки, в этом смысле высказывался Пуанкаре в своей книге «Гипотеза и наука»; для него истинность научной теории является лишь обозначением удобства теории; теория у Пуанкаре понята только как инструмент; об объективной истине, с его точки зрения, не может быть и речи. Это — теория науки, разрушающая науку. Научный объективизм требует реального знания. Поэтому требования предмета лежат в основе нашего знания, но эти требования уточняются и, следовательно, видоизменяются в процессе познания. Процесс познания требует, чтобы мысль переходила от одной теории к другой, и современная теория может получить обоснование только из рассмотрения ее возникновения на основе старых, ею отвергнутых теорий.

В таком рассмотрении научная теория перестает быть произвольной, она становится необходимой, ибо она определена всем предшествующим развитием научной мысли, она им подготовлена; движение научной мысли совершается по определенным рельсам, которые прокладываются самой наукой в зависимости от требований объекта.

Только этот исторический путь может освободить научную теорию от оков догматизма и от шатаний скептицизма. Я только-что сказал, что изолированная, отторгнутая от живой истории любая естественно-научная теория начинает колебаться, становится недоказуемой, кажется произвольной; ничто не ручается, что на ее место нельзя поставить тысячу других. Но еще более опасным врагом, чем скептицизм, является для научной мысли догматизм; растет стремление к отвлеченному схематизму, который готов за-

слонить живые факты, опыты истолковываются с теми или другими натяжками, подводятся под теорию, с таким искусством выработанную, стремятся остановить движение мысли

Исторический взгляд на науку способствует преодолению как скептического шатания, так и догматической косности.

Научная мысль приобретает уверенность в своей реальности, в процессе работы над реальными проблемами; преодолевая трудности, двигаясь вперед, мы получаем уверенность, что стоим на правильном пути. Движение науки подтверждает выводы ее и в то же время препятствует предаться догматической спячке.

Несмотря на очевидность этих положений, современная наука, в особенности главнейшая составная часть науки — математическое естествознание — не усвоила их и в малой степени. Современное математическое естествознание, несмотря на долговременную и весьма богатую достижениями историю, строит свои обобщения, как вечные и неизменные законы.

Пусть формулы математического естествознания меняются с каждым новым этапом развития математического естествознания: несмотря на это, по форме перед нами все такие же, все новые и новые вечные законы природы. Современное математическое естествознание в силу унаследованных традиций метафизического периода остается антиисторическим.

Энгельс в одном отрывке своей книги «Диалектика природы» разоблачает эту сторону методологии современного естествознания. «Вечные законы природы превращаются все более и более в исторические законы», говорит Энгельс. Доказать эту мысль весьма нетрудно. Что вода от 0 до 100° Цельсия жидка, это вечный закон природы. Но чтобы он мог иметь силу, должны быть: 1) вода, 2) данная температура, 3) нормальное давление. На луне нет вовсе воды, на солнце имеются только элементы ее, и к этим небесным телам наш закон неприменим. Таким образом мало формулировать закон в абстрактном виде: такая абстрактная формула говорит лишь о возможности; чтобы этот закон был реальным, необходим ряд условий. Только в этом случае закон становится действительным или, лучше сказать, выражает действительность.

На одном примере Энгельс иллюстрирует свою мысль. Законы метеорологии тоже вечны, но только для земли или же для тела, обладающего величиной, плотностью, наклоном оси и температурой земли и при предположении, что оно обладает атмосферой с одинаковой пропорцией кислорода и азота и с одинаковыми массами испаряющегося и осаждающегося водяного пара. На луне нет совсем атмосферы, на солнце же она совсем иная, чем у нас. Вечные законы метеорологии имеют весьма ограниченное применение, они применимы далеко не везде. По аналогии с метеорологией мы можем трактовать и физику, и химию, и биологию. Мы должны будем признать, что эти науки в их официальном виде до сих пор были исключительно геоцентричны и рассчитаны для земли. Отсюда Энгельс делает весьма знаменательный вывод: «Итак, если мы желаем говорить о всеобщих законах природы, применимых ко всем телам, начиная с туманного пятна и кончая человеком, то нам остается только тяжесть и, пожалуй, наиболее общая формулировка теории превращения энергии — vulgo — механическая теория теплоты. Но сама эта теория превращается, если последовательно применять ее ко всем явлениям, в историческое изображение происходящих в какой-нибудь мировой системе, от ее зарождения до гибели, изменений, т.-е. превращается в историю, на каждой ступени которой господствуют другие законы, т.-е. другие формы проявления одного и того же универсального движения». «Диалектика природы», стр. 85.)

Таким образом то, что мы привыкли называть вечными законами, на самом деле суть лишь временные исторические «формы проявления одного и того же универсального движения». Если мы мыслим эти законы отвлеченно, как вечные законы, то они оказываются недействительными, они неприложимы ко всем явлениям; лишь в том случае, если мы будем мыслить их не только в отвлеченной форме, но и как исторические законы, они становятся действительными, выражающими действительные отношения.

Но тем самым мы уже покинули область отвлеченного мышления, мы мыслим конкретно.

ИСТОРИЗМ.

I. Историзм реакционный.

Историзм первоначально возник и получил широкое развитие, как реакция против революционных доктрин деятелей эпохи просвещения.

Идеологи предреволюционной и революционной эпохи во Франции стояли на точке зрения так называемого естественного права. Они пытались вывести из требований разума права людей и основы государственной конституции. Существующие государственные учреждения они ставили перед судом чистого разума, который их осуждал не менее сурово порой, чем революционный трибунал.

Против этой школы естественного права выступила школа историческая, которая во многом подвергла правильной критике идеалистические методы представителей естественного права.

Государственные учреждения, согласно исторической школе, являются результатом долгого и сложного исторического развития. Конституцию нельзя выдумать из чистого разума. Право вообще не образуется по желанию людей. Оно не результат положительного закона. Право непрерывно развивается подобно языку; ни для того, ни для другого нет абсолютного покоя. Оно связано с судьбой народа. «Оно совершенствуется вместе с ним и умирает, когда народ теряет свою самобытность» [1]).

Подчеркивая стихийную сторону образования правовых норм, теоретики исторической школы все же не могли сполна и всецело отрицать в правовых установлениях сознательной воли людей. Они признавали, до некоторой степени, «искусственный» характер жизни права, но при этом оговаривались, что бесконечные частности законодательства происходят

---

[1]) Савиньи. «Призвание нашего времени к законодательству и юриспруденции» (стр 7, немецкого издания 1814 г)

«органическим» путем. В частности, деятельности юриста ими приписывается лишь роль наблюдения; «право всегда порождается молчаливо—действующими внутренними силами» [1]).

Если право является результатом органического развития, то понять правовые явления можно только исторически, проследив их возникновение и образование; судить и оценивать правовые явления иным методом нельзя, это противоречило бы «историческому» смыслу. Совершенно понятно, что подобный историзм приводил на практике к оправданию многих злоупотреблений просто потому, что они существуют, что они давнего происхождения, что мы знаем их генезис и первопричины.

Характеристику этого реакционного историзма дал Маркс в статье «Философический манифест исторической школы», написанной в ярко полемических тонах и направленной против одного из представителей исторической школы — Гуго. «Гуго, — говорит Маркс («Литературное наследие», т. I, стр. 367), — из всех концов мира с самодовольной иронией собирает доказательства, чтобы сделать возможно более очевидным, что положительные институты, как собственность, государственное устройство, брак и т. п., не одушевлены никакой разумной необходимостью, что они даже стоят в противоречии к разуму... Нельзя приписать этот метод недостаткам случайной индивидуальности Гуго. Этот метод, его принципы, откровенный, наивный, ни с чем не считающийся метод исторической школы».

Для того, чтобы обосновать положительное право, как положительное, а не разумное, Гуго показывает, что неразумное положительно и положительное неразумно. Положительное существует не через разум, а вопреки разуму. «Гуго опровергает все, что есть святого для правового, нравственного, политического человека, но он разрушает святыни лишь для того, чтобы быть в состоянии совершить богослужение перед ними, как перед историческими реликвиями; он позорит их перед глазами разума для того, чтобы потом, втихомолку, воздавать им почести перед глазами истории».

Отклоняя мерило разума для оценки существующего, Гуго лишает себя вместе с тем возможности проводить какую-либо разумную критику. Позиция Гуго некритична.

---

[1]) Там же, стр 9.

«Согласно Гуго, сиамец, который считает соответствующим вечному порядку природы, если его король зашивает болтуну рот или же разрезает неловкому оратору рот до ушей, так же положителен, как и англичанин, который счел бы политическим парадоксом, если бы его король установил собственной властью новый налог в 1 пфенниг. Бесстыдный бушмен, который бегает нагишом, покрытый в лучшем случае грязью, так же положителен, как и француз, который не только одевается, но и элегантно одевается. Немец, который воспитывает свою дочь, как сокровище семьи, не положительнее расбута, который умерщвляет свою дочь для того, чтобы освободить себя от забот о ее воспитании. Словом, сыпь на коже так же положительна, как и сама кожа».

Отсюда вывод: «В одном месте положительно одно, в другом — другое. Одно так же неразумно, как и другое Подчинись тому, что положительно в твоем приходе»

Я сделал эту выписку из Маркса потому, что она весьма проницательна и принципиальна Она с легкостью может быть перенесена на историческую школу, как она существует в современности, я имею в виду историческую школу в политической экономии. В самом деле, Маркс делает главным образом два упрека Гуго: он упрекает его в скептицизме и в некритичности; этими недостатками страдает и современная историческая школа в политической экономии, которая также воздерживается от каких-либо выводов и лишена возможности производить какие-либо оценки изучаемых ею явлений. Современная историческая школа хочет быть всецело положительной и узкоописательной и, преследуя эти цели, готова принять «характер скептицизма, направленного против существования разума».

Можно сказать поэтому, что метод критики Маркса предвосхищает в основном характеристику современной исторической школы, которую дает Бухарин (см. «Политическая экономия рантье»).

II. Историзм Гегеля.

Историзм у Гегеля, по существу, совпадает с диалектикой. Философию Гегеля можно назвать исторической по преимуществу. Действительность для него — бытие идеи — состоит в ее движении или, выражаясь в терминах Гегеля, в

ее «самодвижении». Поэтому всякое бытие «исторично», нет застывшего неподвижного бытия, есть «процессы», «развитие»; «истина» бытия есть всегда «становление» На разные лады, самыми различными терминами Гегель выражает эту основную свою мысль; ни в одном из его сочинений она, быть может, не получила более полного выражения, как в «Феноменологии духа». Основная мысль этого сочинения, если отвлечься от его многообразного содержания, сводится, по существу, к двум положениям: во-первых, Гегель показывает, что всякое сознание коллективно, а во-вторых, что всякое сознание исторично.

Нельзя понять сознание из него самого, из изолированного сознания, опираясь только на наблюдение, как это делают очень многие из современных психологов, опирающиеся на Локка и Юма, этих представителей индивидуалистической эпохи; всякое сознание может быть понято только через связь с другими сознаниями; не только такие образования, как язык, миф и нравы, должны быть относимы к коллективной психологии, но и вообще каждое наше состояние сознания невозможно без связи с другими сознаниями. «Я есть мы», говорит Гегель и этим весьма глубокомысленно предваряет наиболее передовые течения современной психологии.

Но указание на коллективность сознания для Гегеля служит лишь переходом к утверждению, что всякое сознание исторично, т.-е. что оно может быть понято только через историю. Нет человека вообще, нельзя говорить об отвлеченных правах человека; рассуждения представителей французского просвещения догматичны, всякое сознание может быть понято лишь в конкретном историческом процессе, оно содержит в себе результат этого процесса и в свою очередь творит историю, осуществляет себя исторически. Таким образом для того, чтобы исследовать сознание, нужно вскрыть его исторические корни, его становление; следовательно, само понятие, которым может быть понято это сознание, должно быть понятием историческим.

Характерные признаки этого исторического понятия всего лучше устанавливаются путем его противоположения понятию математическому. Математика строит свои положения «под углом зрения вечности», выражаясь языком Спино-

зы, отвлекаясь от времени; математическая истина есть вечная истина. Гегель же указывает, что нужно рассматривать само понятие и само познание как событие, рассматривать как живой процесс. В этом смысле особенно примечательны рассуждения Гегеля об истине и лжи. Обычно думают, что истина отделена от лжи, что истина есть истина, а ложь есть ложь или что истина и ложь противоположны друг другу и ничем друг с другом не связаны. Гегель же указывает, что истина и ложь неразделимы. Когда я ставлю на место одного положения другое, то в этом акте моя мысль усматривает, с одной стороны, ложь старого положения, которое я отринул, которому говорю «нет», и в этом же акте родится новая мысль, новое «да». Этот общий вывод Гегель применил ко всей своей системе. Его философия может быть принята только в связи с исторической философией, которую она резюмирует и выражает. Если мы будем стоять на исторической точке зрения, то, кажется, вообще придется отказаться от создания какой-либо системы: раз все изменяется и все течет, то нельзя думать, что когда-нибудь удастся выразить вечную истину. Для Гегеля «вечной истины» в смысле противоположной движению мысли быть не может; всякая историческая система имеет свою историческую истину, она является выражением своего времени, в то же время эта истина является лишь моментом и переходом к новой истине. Эта смена, по мнению Гегеля, не безрезультатна и не напрасна, в этой смене есть определенный порядок и прогресс. В новой истине содержатся старые истины, хотя и в отмененном, по гегелевской терминологии, «снятом» виде. «Высшая ступень есть истина «низшей»; «низшая истина» отменяется высшей в том смысле, что она не только отрицается, но сохраняется в преобразованном виде. Благодаря этому устраняется тот скептический вывод, который был присущ реакционной исторической школе, выступавшей против идеалов естественного права. История вовсе не есть только кладбище, она есть живая сила, при чем прошлое сохраняется в настоящем, богатое содержание культуры является результатом усилий многих поколений. Историзм Гегеля таким образом является своеобразным синтезом исторической школы и французской революционной идеологии. Гегель признавал, как и представители исторической школы, что нельзя судить

с точки зрения отвлеченных понятий историческую действительность, что разумность ее обнаруживается путем изучения ее генезиса, ее становления, но в то же время он признавал, что данное историческое явление подлежит критике разума, что оно само, как возникшее, принуждено погибнуть в силу присущих ему внутренних противоречий.

Благодаря такому пониманию Гегель вкладывает совершенно новый смысл в понятие историзма. Реакционный историзм был направлен против разума, как он трактовался во французской предреволюционной литературе. Как мы видели, Гуго всячески стремится показать, что действительность неразумна, что напрасно искать разума в установлениях общественных, государственных и бытовых, они складываются стихийно, без участия разума, и, следовательно, нельзя требовать, чтобы в них была та разумность, которую можно найти в хорошо обоснованной геометрической теореме. Поэтому разум бессилен против исторической действительности, он должен признать свою немощь, перестать критиковать и выставлять свои требования, нужно подчиниться исторической действительности.

Для Гегеля отношение радикально меняется. Историзм для него ничего не может выставить против разума, ибо самый разум историчен. Историзм у Гегеля превращается в теорию развития. Прежде всего развивается сама мысль Развитие есть закон мышления.

Само развитие идет не произвольно, а закономерно, в соответствии с законами мысли.

Историзм у Гегеля приобретает таким образом универсальное, общефилософское значение, историзм вовсе не направлен только на прошлое человечества, не только прошлые состояния мы можем рассматривать исторически. По мнению Гегеля, все исторично, развитие есть основная философская категория, имеющая универсальное приложение.

Этим самым Гегель предваряет революционное понимание историзма, которое мы находим у Маркса и Энгельса.

III. Революционное истолкование историзма.

Маркс и Энгельс в педантически темных словах и в неуклюжих «скучных» периодах Гегеля усматривали революционную философию. Как мы только что видели, революю-

ционное содержание действительно находится в этой философии, а именно в ее методе.

«Близорукое правительство, — говорит Энгельс («Фейербах»),—весьма сочувственно относилось к знаменитому положению Гегеля. все действительное разумно, все разумное действительно. Это положение казалось философским освящением деспотизма Но у Гегеля далеко не все существующее действительно. Это положение Гегеля может быть понято только через точный смысл его несколько запутанной терминологии. «Атрибут действительности принадлежит у него лишь тому, что в то же время необходимо, или, как говорит Гегель, в своем обнаружении действительность оказывается необходимостью».

Эту необходимость действительного вскрывает историческая мысль, и поэтому действительное, как понятие, как закономерно возникающее, должно представляться также и разумным, но это рассмотрение нисколько не предрешает вопроса о том, должна ли быть принята та или иная административная мера или тот или иной закон, и отнюдь не ставит преград для разумной критики существующего. Напротив, такая постановка вызывает критику. Действительно ли необходимо то, что существует в настоящее время, например, то или другое учреждение, тот или другой закон? Раз подобные вопросы поставлены, мы возвращаемся принципиально к позиции революционной философии XVIII века. Существующие законы, учреждения, верования и обычаи ставятся перед трибуналом разума.

Правда, этот разум у Гегеля стал уже другим, это был не отвлеченный разум, а разум исторический. Совершенно правильно говорит Энгельс: «Действительность вовсе не представляет собой атрибута, свойственного данному общественному или политическому порядку при всяких обстоятельствах и во всякое время». Французские просветители, устанавливая права человека, намечая условия общественного договора и проч., думали хотя бы мысленно установить порядок, который был бы разумен и необходим во все времена. Права человека, по мысли французских идеологов, не являются правами той или иной нации или того или иного класса, а правами человека вообще, т.-е. они полагали, что «действительность представляет собой атрибут, свойствен-

ный определенному общественному и политическому порядку», в данном случае тому порядку, который они создали теоретически. Напротив, для Гегеля, который стоит на точке зрения развития, все явления действительности становятся недействительными, утрачивают свою необходимость. Эта утрата обусловлена тем противоречием, которое пронизывает всякую действительность, разрушает ее и требует перехода к другой действительности. Совершенно правильно отсюда Энгельс делает следующий вывод: «Диалектика Гегеля превращает, стало быть, рассматриваемый гегелевский тезис в его прямую противоположность: все действительное в области человеческой истории оказывается со временем неразумным, т.-е., другими словами, всему действительному суждено стать неразумным, все действительное заранее обречено на неразумность и всему, что есть разумного в человеческих головах, суждено стать действительным, как бы ни противоречило оно существующей в данный момент действительности. По всем правилам гегелевского метода мышления тезис, провозглашающий разумность всего действительного, превращается в другой тезис: «достойно гибели все, что существует».

Благодаря этой диалектике совершенно новое содержание может быть внесено в историзм. Как мы видели, первоначальный историзм был направлен против идеологии, против претензий разума творить из себя действительность политическую и общественную. Нельзя создавать законы, можно создавать лишь юридическое оформление взаимоотношений, которые складываются стихийно среди людей на определенной стадии общественного развития. Мы видели на критике Гуго Карлом Марксом, во что вырождается подобный историзм. Теория стихийного органического развития принижала всячески права критикующей мысли, урезывала требования мысли. Человек должен был чувствовать себя по отношению к такой исторической действительности совершенно пассивно и мог только признать ее и всячески к ней приспособляться.

При диалектическом понимании историзма разум снова вступает в свои права. «Ибо всему, что есть разумного в человеческих головах, суждено стать действительным, как бы ни противоречило оно существующей мнимой действительности».

Разум получает свободу критики и притом критики не отрицательной, а положительной. Критика эта вытекает не из «головы», не из тех или иных отвлеченных соображений, а из анализа самой действительности. Диалектически понятая история становится источником революционной теории и практики.

Научный социализм тем и отличается от социализма утопического, что он отверг построение идеального общества из предположений и принципов, не связанных с определенной исторической действительностью, но в то же время диалектический подход к исторической действительности позволил показать действительность социализма, как результат неизбежного крушения буржуазного общества. Мысль, понятая как простое отражение действительного процесса в мозгу, получает по-новому реальность и значение. Доводя стихийные общественные процессы до полного и ясного осознания, мы тем самым видоизменяем самый этот процесс, или, как обычно говорится, помогаем родам нового общества. Словом, при диалектическом рассмотрении историзм из пассивного становится активным: по-новому в историзме сплетаются свобода и необходимость. Для отвлеченной мысли это противоречие представляется неразрешимым. С одной стороны, для обоснования развития человеческого общества необходимо признать свободу, как активную силу, изменяющую общественную среду; если отрицать свободу, то придется признать, что между ростом общества и между ростом дуба из жолудя нет, по существу, никакого различия. Целесообразная революционная практика становится совершенно невозможной без свободы; но, с другой стороны, историческое рассмотрение показывает, что все существующее в определенный момент времени возникло в силу необходимости по определенным законам, которые мы понимаем. Поэтому действительное должно быть признано разумным. Действительность, познанная как необходимое и разумное, требует полного подчинения себе, перед нею всякая критика должна умолкнуть, и те идеалы, которые построяет наша мысль, как бы увлекательны они ни были, должны быть признаны неразумными и детскими мечтаниями. Признание необходимости существующего ведет к отказу от революционной борьбы. Из этого противоречия нет выхода до тех пор,

пока свобода и необходимость будут пониматься метафизически, как ничем не соединенные противоположности. Несомненной заслугой Гегеля является его учение о том, что свобода есть понятая необходимость. У Гегеля это положение вытекает из сущности его идеализма. Действительность есть творчество абсолютного разума; до тех пор, пока мы не поднимемся до той идеальной точки зрения, т.-е. пока наша мысль не сольется и не станет тождественной с чистым разумом, мы подвластны слепым силам, ибо мы покорствуем неразумному. Люди являются рабами необходимости, поскольку они не озарены светом разума; для них существует лишь необходимость, ибо они не причастны разуму. Но если мы сами станем разумными, если наше я будет тождественно с понятием, тогда сама необходимость открывается нам как результат творчества чистого разума, и, следовательно, поскольку мы стали едины с этим разумом, для нас нет более необходимости, а есть только свобода разума, его свободная мощь.

Такова эта своеобразная теория, в своем изложении я чересчур сгустил ее метафизическую основу и упустил сторону диалектическую. Эту диалектическую сторону у Гегеля однако нельзя терять из вида: ведь есть переход от необходимости к свободе, этот переход есть процесс понимания окружающего и нас самих. Понимая окружающие нас явления, руководствуясь разумом в наших действиях, мы видоизменяем, по мысли Гегеля, и окружающую действительность и нас самих. Гегель в учении о необходимости и свободе подчеркивает человеческую активность, которая растет по мере того, как наша мысль освобождается от иллюзий всякого рода и становится объективной. Эту сторону учения Гегеля заимствовали Маркс и Энгельс.

«У диалектической философии,—говорит Энгельс,—есть своя консервативная сторона, каждая данная ступень развития науки или общественных отношений оправдывается ею в виду обстоятельств данного времени, но не больше. Ее консерватизм относителен, ее революционный характер безусловен»...

Безусловно, революционный характер этой философии и возникает как раз из относительного ее консерватизма. Если бы революционная идеология и практика не

имели никакого консервативного момента, т.-е не считались бы с необходимо возникшими общественными отношениями и установлениями, а просто противополагали бы им «чистоту своей идеологии и принципов», — в этом случае мы имели бы лишь революционную фразу, а не революционную идеологию, нераздельно слитую с практикой. Именно потому, что диалектическая философия считается с исторически возникшей действительностью, что она считается с реальными силами и устанавливает их противоречия, именно потому эта философия приобретает безусловно революционный характер.

Разбор полемики Ленина против различных групп так называемых левых коммунистов именно основан на этой диалектике, на этом революционно понятом историзме.

IV. История как предмет логики.

Диалектический материализм по преимуществу историчен, поэтому необходимо остановиться более глубоко на философской стороне исторической проблемы. Можно сказать, что исторические науки вызывают в настоящее время наибольший интерес в философских кругах. Выходит ряд книг, которые стремятся выяснить отношение естествознания к истории, которые говорят о возможности обоснования истории и социологии, как наук. Можно сказать, что это наиболее современные проблемы. Тем не менее, несмотря на ряд вышедших трудов, посвященных этому вопросу, разобраться в нем весьма трудно, ибо они скорее запутывают, чем разъясняют методологию исторических наук.

Я постараюсь прежде всего наметить основные пункты, если так можно выразиться, основные узлы проблемы, вокруг которых сосредоточивается энергия мысли.

Необходимо подчеркнуть два момента, которые необходимо исследовать в первую очередь.

Во-первых, говорят, что трудно обосновать историю, как науку, потому что самый предмет исторической науки, историческая действительность изменчива. В этом смысле предмет истории как будто противоположен предмету математики. Круг, треугольник, которые изучает геометрия и свойства которых она старается установить, не являются чем-то изменчивым, возникающим и исчезающим. Круг не меняет-

ся, круг конструктивно утвержден и так и пребывает. Напротив, историческая действительность как будто каждый день другая. Это текучая изменчивая действительность. В этой действительности нет тождества, которое является условием всякой мысли.

Во-вторых, против возможности истории, как науки, выдвигают то соображение, что всякая историческая действительность индивидуальна и что ее невозможно выразить в общих понятиях. Указывают на то, что всякая наука представляет собою систему общих законов. Только общие свойства и отношения вещей могут быть познаны научной мыслью. Но интерес историка сосредоточен не на том, что общего имеют события, историк прежде всего стремится установить и изучить индивидуальное во всем его своеобразии и неповторяемости. В этом как раз и состоит своеобразие исторических наук, их отличие от естествознания. Так, антропология, например, вовсе не изучает данного человека, Петра или Семена (в этом случае она была бы биографией). Любой закон химии вовсе не имеет в виду только данного химического процесса в данной лаборатории, в данное время, но выражает общие свойства, взятые независимо от индивидуальных обстоятельств. Напротив, история направляет свое внимание именно на индивидуальное: русско-японская война была один раз и больше не повторится, ею-то и интересуется историк русско-японской войны.

Из этих двух соображений—из изменчивости исторической действительности и ее индивидуальности — выводят основной тезис, что историческое бытие иррационально, что оно для познания недостижимо, что оно находится за пределами всякого возможного познания. Тех, которые хотят рационализировать и упорядочить исторический опыт, обвиняют в злоупотреблении логикой и разумом и, если говорить в философских терминах, в игнорировании весьма существенной проблемы иррациональности, в незнании ее и в непонимании ее.

Иррациональность исторической действительности выдвигается как весьма веский аргумент против истории как науки. В некоторых философских кругах заметно стремление так или иначе обосновать иррациональность, показать, что действительность иррациональна. Те, кто не признают

иррационального, получают кличку безнадежных догматиков. Отрицание иррационального есть признак догматического мышления, которое противоположно мышлению научному, мышлению критическому. Идеологи иррационализма обычно при этом ссылаются на Канта, который в третьей части «Критики чистого разума» в трансцендентальной диалектике действительно обосновывает весьма своеобразно идею иррациональности, устанавливает незыблемые границы человеческого познания для того, чтобы очистить место вере. Этот догматический вывод Канта признается основанием истинного критицизма, а диалектическое его опровержение— признаком догматизма. Несмотря на явную несостоятельность этого направления, в последнее время оно особенно усилилось, сложилось в особую неокантианскую школу, которая не так еще давно являлась, можно сказать, руководящей в Германии.

Приходится отметить, что аргументы, выдвинутые из арсенала неокантианства, зачастую обращаются против Маркса, Энгельса и марксизма. В одной из своих последних работ Струве разбирает логическую позицию, на которой стоит Маркс, и упрекает его в том, что он отрицает идею иррациональности в экономической жизни. Экономические явления, как проявления общественной жизни, являются, по преимуществу, явлениями стихийными, явления экономические не могут быть рационализированы до конца, но социализм Маркса как раз и представляет попытку рационализировать социологическую стихию, подчинить ее сознательной и планомерной воле человеческого коллектива. Это, по мнению Струве, злоупотребление разумом; на текучую, изменчивую, алогичную действительность пытаются накинуть сеть законов, втиснуть ее в схему нашего разума, экономическая жизнь давится в этих петлях, подобная рационализация ведет к остановке экономического прогресса, который может лишь развиваться стихийно и иррационально.

Эта логическая аргументация по существу является апологией буржуазного хозяйства. Действительно, Маркс говорил, что экономическое развитие буржуазного общества совершается непланомерно, что при буржуазном строе сознание еще не овладело экономической стихией, которая поэтому сама себя сокрушает в ряде кризисов. Для Маркса это

являлось отрицательной стороной капитализма, и отсюда возникала задача преодолеть эту иррациональную стихию, подчинить ее разумному руководству и плановому началу. У Струве, напротив, сама задача преодоления иррациональной стихии объявляется неразумной, противологической.

Нашей задачей прежде всего является преодоление этих действительных и мнимых трудностей.

Обратимся прежде всего к проблеме изменчивости исторических явлений. Постараемся вникнуть в эту проблему. Говорят, что историческая точка зрения разрушает возможность какого-либо познания: например, философия уничтожается историей философии. Ведь всякая философия стремится вылиться в известную систему; эта система говорит однозначно и положительно об объективной истине. Но если мы будем рассматривать определенную философическую систему с исторической точки зрения, то она нам предстанет как определенный момент и этап в развитии других философских систем, каждая из которых будет противоречить другим смежным системам. Поэтому история должна символизироваться в образе бога Сатурна, который пожирает своих собственных детей. История есть уничтожение существующего, следовательно, уничтожение всякого нашего тезиса, всякого положительного вывода, который будет отменен и преодолен дальнейшим развитием.

Нужно признаться, что в известном смысле понятие изменчивости является действительно отрицательным, однако в то же время изменчивость можно мыслить, как подчиненную известному вполне определенному закону. Изменчивость не только разрушает, но и созидает; изменяясь, теряя прежнюю форму и образ, предмет все же никогда не превращается в чистое «ничто», он не исчезает; изменяясь, предмет превращается в другой; лишаясь одних свойств, приобретает другие. Поэтому и история является столь же разрушительным, как и созидательным началом. Она есть то лоно, из которого исходит бесконечное разнообразие явлений. Если мы научимся сопрягать отрицательные и положительные моменты в изменчивости, если мы будем знать законы перехода и рождения нового на развалинах старого, тогда изменчивость не будет представляться нам как непреодолимая преграда для нашего познания, напротив, мы будем в состоянии, опираясь

на знание закона изменчивости, предвидеть наступление будущего.

Уже несколько раз указывалось, что если мы действительно стоим на почве диалектической логики, то мы не должны представлять себе мысль, как нечто неподвижное. Напротив, мысль обретает и утверждает себя только как живой процесс. Изменчивость характерна для самой мысли. Изменчивость мысли утверждена в самом основном диалектическом законе — законе диалектического единства. Это диалектическое единство, как мы видели, соединяет противоречивые понятия *А* и не-*А*; только через это единство, которое есть момент, единящий противоположности, каждое отдельное понятие, каждая отдельная мысль существует, ибо каждое понятие, каждая мысль может существовать только через связь и отношение к другим мыслям и другим понятиям. Поэтому для диалектической мысли изменчивость не может явиться непреодолимой преградой. Изменчивость вполне отвечает самой природе диалектической мысли, которая есть прежде всего живой конкретный процесс.

Самое трудное и самое сложное в этой проблеме изменчивости заключается в последнем счете в следующем: теоретически мы могли бы себе представить такую действительность, которая была бы сплошь непоследовательной, хаотической и потому действительно недоступной для познания. Предположим, что завтрашний день совершенно ни в чем не будет похож на день настоящий, что каждая минута, вернее, каждый миг приносит нечто абсолютно новое, ни с чем не сравнимое и ни на что решительно непохожее, словом, представим себе изменчивость, которая была бы, с одной стороны, всецелым уничтожением прошлого, а в то же время творческим порождением нового из ничего.

Возьмем нарочно грубые примеры: предположим, что у жаворонка в качестве потомства сегодня появляется гиппопотам, а завтра сверчок, и представим себе, что в данный миг вещи притягиваются к центру земли, а в следующий миг отталкиваются от нее.

Если бы развитие шло подобным образом, если бы в развитии не было никакой непрерывности и, следовательно, ничего тождественного, если бы в изменчивости ничего не сохранялось, а каждый момент возникал бы в абсолютном

своем своеобразии оторванно от смежного момента, который не сохранялся бы в нем,—при таком характере изменчивости никакая наука не была бы возможной.

Если бы действительность имела подобную структуру, если бы изменчивость характеризовалась абсолютной прерывистостью, тогда никакие знания не были бы возможны; нельзя было бы разобраться в абсолютном хаосе. На это было уже обращено внимание в свое время Стюартом Миллем. В своей «Логике» он говорит, что предпосылкой всякой науки является известное единообразие природы.

Однако рассмотрение реальных примеров изменчивости показывает, что подобного хаоса фактически, на самом деле нет. Наблюдая примеры изменчивости, мы видим, что явления изменяются законообразно, а не по прихоти, по произволу, следовательно, возможно установить закон, определяющий различные фазы изменения.

Более того, если мы как следует вдумаемся в понятие изменчивости, то увидим, что то представление об изменчивости, которое я только что привел, на самом деле образовано неправильно, не выдерживает никакой внутренней критики. В самом деле, что значит «измениться»? Всякое изменение предполагает переход одной фазы, одной стадии развития в другую. Но при переходе должен быть один и тот же субъект, один и тот же предмет, который изменяется. Если мы говорим, например, что данный организм развивается, растет, то во всяком случае мы имеем в виду, что это один и тот же организм, который раньше был маленьким, а теперь стал большим; без этого предположения мы не могли бы констатировать роста данного организма. Только благодаря тому, что есть этот тождественный момент, только благодаря ему и существует изменение. Уничтожьте этот тождественный момент, предположите, что серия опытов абсолютно прерывна, и мы не будем иметь никакого развития, а лишь калейдоскоп событий, ничем друг с другом не связанных. Изменение должно носить в той или иной мере непрерывный характер, заключать в себе тождественный момент, чтобы вообще можно было говорить об изменении. Поэтому мы должны притти к выводу, что первоначальное предположение оказывается неправильным, только ложно понятая изменчивость несовместима с диалекти-

ческой мыслью. Реальная изменчивость всегда подчинена определенному закону, и поэтому мы можем изучать ее и можем познать законы развития и законы изменчивости. Реальная изменчивость сохраняет в себе момент тождества, реальное настоящее сохраняет в себе момент прошлого.

Диалектика для выражения этого отношения имеет вполне определенный термин «снятие», по-немецки — «Aufheben», который Плеханов удачно перевел «схоронено». Настоящее отнюдь не есть только настоящее, оно имеет в себе свое прошлое. Настоящий миг уничтожил прошедший, но в то же время он сохраняет его в себе, и для того, чтобы этот настоящий миг понять, необходимо обратиться к прошедшему исчезнувшему мгновению, только из прошлого мы можем уразуметь настоящее. Следовательно, изменчивость вовсе не уничтожает тождества, она его утверждает, правда, не тождество формальной логики, а тождество диалектическое.

В современном историческом сознании, в различных теориях эволюции эти положения, которые были выше вкратце намечены, достаточно утверждены; рассматривая предмет с точки зрения его развития, мы вовсе не делаем его недоступным познанию, иррациональным, напротив, такой подход облегчает нам дело познания, предмет становится доступным нашей мысли. Современная наука в этом смысле радикально преодолела платонизм с его утверждением, что предметом знания могут быть только вечные и неизменные идеи; с точки зрения современной науки предметом познания является действительность в ее непрестанном движении и изменении, и характерные методы современной науки, математического естествознания, биологии, психологии и социологии, приспособлены и приноровлены к этому объекту.

Если возражения против исторических наук, основанные на требовании вечности и неизменности предмета познаний, могут быть с достаточной убедительностью отведены, то тем настоятельнее со стороны многих методологов выдвигается второй аргумент против возможности исторических наук, сводящийся к тому, что исторические науки занимаются индивидуальными предметами. По мнению этих теоретиков, история есть наука об индивидуальном, единич-

ном, и потому, вступая на почву истории, мы радикально должны отказаться от тех методов познания, которые употребляются в науках естественных, всякое рассуждение из общих понятий и законов ведет к отрицанию предмета истории. Эта точка зрения была с особой силой представлена у Риккерта, одного из вождей неокантианской школы. Если мы продумаем до конца точку зрения Риккерта, то так или иначе придем к отрицанию истории, как науки, или принуждены будем думать, что историю надо писать так, как это делает Шпенглер в своем «Закате Европы».

Нужно признать, что этот аргумент имеет за собой большую историческую традицию. Здесь перед нами в новой весьма своеобразной форме воскресают споры об отношении частного и общего, которые волновали философские умы в эпоху Сократа. Перед нами большая философская проблема, которая тянется через всю историю мысли.

На первый взгляд может казаться, что риккертианцы рассуждают правильно. В самом деле, математика и построенное на ней математическое естествознание интересуются общими законами и общими отношениями изучаемых предметов. Математику интересует не данный круг вообще, не эта парабола и не эта гипербола, а гипербола и парабола вообще. Точно так же анатом, рассекая труп, интересуется не теми или иными особенностями строения данного умершего человека; работая над трупом, анатом стремится установить структуру человеческого тела вообще. Такова основная точка зрения таких наук, как математика и естествознание. Они стремятся установить общие законы и отношения; с точки зрения этого общего они стремятся понять всякое частное. Данное явление подводится под общий закон, который объясняет, почему данное событие протекает так, а не иначе. В истории же нас прежде всего интересует индивидуальное, во всем его своеобразии, нечто случившееся в определенном пространстве и во времени. Пелопоннеская война, французская революция, Парижская Коммуна — вот предметы, интересующие историка.

Основная логическая ошибка, лежащая в основе всего этого рассуждения, состоит в неправильном недиалектическом истолковании отношений между общим и частным. Общее и частное здесь взяты изолированно друг от друга,

общее вне частного, частное вне общего; на самом деле такого разделения быть не может, подобное разделение является злоупотреблением отвлекающей мысли, которая не в силах усмотреть связь в устанавливаемых ею различениях.

В любом учебнике формальной логики можно найти положение, что всякое понятие можно рассматривать, как род и как вид, что «род» и «вид» не являются абсолютными терминами, а относительными, что одно и то же понятие с известной точки зрения может быть видовым, а с другой точки зрения — родовым; так, например, математика является понятием видовым по отношению к понятию «наука» и родовым по отношению к геометрии, алгебре, арифметике. Значит, одно и то же понятие может рассматриваться с этих двух точек зрения и как общее и как частное. Несмотря на то, что все эти рассуждения в любом руководстве по логике имеются, формальная логика не делает из них никакого употребления, напротив, то единство, которое она как будто утверждает, она вновь разрушает: родовое понятие в формальной логике стоит над видовыми, а видовые стоят под родовыми, так что понятие видовое и понятие родовое существуют изолированно друг от друга. Диалектическая логика, как мы видели в главе о понятии, не может признать этого отрыва частного от общего: общее не существует помимо частного, частное вкоренено в общее. Это диалектическое единство получает особое значение при обсуждении метода истории. Можно показать, что когда мы рассматриваем понятие или систему понятий с общей точки зрения, тогда мы имеем систематическое изложение; когда мы рассматриваем понятие или систему понятий, как частное, мы стоим на исторической точке зрения. Раз это так, то легко будет показать, что методы естествознания и истории являются лишь сторонами и моментами в развитии познания, что нет познания систематического, которое в то же время не было бы историческим, и нет познания исторического, которое не было бы в одно и то же время познанием систематическим.

Так, для уразумения любой системы философской, экономической или политической необходимо одновременно продумать ее с точки зрения руководящих принципов и начал, лежащих в ее основе, которыми обусловлены много-

образные детали ее, частные положения и теоремы. Но подобное систематическое изучение все же не дает полного понимания ее; на ряду с исследованием систематическим необходимо также исследование историческое, т.-е. рассмотрение данной системы в ряду с другими системами, ей предшествовавшими и за ней последовавшими. Если же ставить данную систему в ряд с другими системами, то мы ее рассматриваем уже не с точки зрения общего, а с точки зрения частного; в этом смысле крайне показательна теория прибавочной стоимости, как она была создана Марксом: на ряду с систематическим ее выведением в I томе «Капитала» мы имеем у него также историю теории прибавочной стоимости. Эти два исследования взаимно друг друга дополняют.

Диалектический анализ содержит оба момента, общий и частный, в конкретном их единстве. Сочинения Маркса дают нам богатый и весьма показательный материал, показывающий в конкретных примерах, как достигается подобное объединение. Всего отчетливее это можно видеть на отношении Маркса к Рикардо и вообще в понимании Марксом законов политической экономии. Известно, что сам Рикардо смотрел на устанавливаемые им законы, как на естественные законы хозяйственных отношений человека; эти законы незыблемы так же, как закон тяготения или закон инерции. Если эти законы когда-либо раньше не соблюдались, не находили, например, выражения в феодальном обществе, то это потому, что ставились те или иные препятствия свободному развитию экономических отношений, например, считалось грехом брать проценты. А если бы была предоставлена свобода развитию экономических сил, то это привело бы к возникновению тех отношений, которые свойственны природе экономических отношений вообще. Поэтому Рикардо формулирует «законы политической экономии» в столь общей форме, как любой закон природы. Маркс не стал опровергать Рикардо на том основании, что законы прибыли, ренты и др. нельзя признать «естественными законами», что отношения, при которых один человек эксплоатирует другого, скорее следует признать неестественными; не в плоскости естественности или неестественности стал

критиковать Маркс Рикардо. Маркс взглянул на эти законы, как на выражающие частные случаи экономических отношений, как на законы, свойственные капиталистическому строю, словом, он взглянул на них с точки зрения истории. Можно привести другой пример, также заимствованный у Маркса. Мы едва ли в состоянии думать, что, когда во Франции провозглашали права человека, авторы этих провозглашаемых прав был неискренни; напротив, можно с уверенностью сказать, что они были охвачены энтузиастической верой в то, что они делали, именно, что они нашли и формулировали неотъемлемые права человека вообще Тем не менее, если мы вдумаемся в смысл и структуру этих вечных и неизменных законов, то мы увидим, что это вовсе не права всех людей, всех стран и эпох, а скорее неотъемлемые права буржуазии, что в этих принципах 1789 года сформулировано право, как норма, для буржуазного общества.

После этих разъяснений, показывающих, что нельзя отрывать общее от частного, что подобные ошибки отвлечения весьма недиалектичны, легко разъясняются также те недоразумения, которые затуманивают порой смысл понятия индивидуальности Наиболее ярким примером такого недоразумения может послужить вопрос, с которым обратился в свое время кантинианец Гарве к Гегелю. Гарве, возражая Гегелю, говорил, что никакими путями и методами Гегелю не удастся дедуцировать из понятия индивидуальную вещь, например, перо, которым он, Гарве, пишет. Это возражение было обосновано, поскольку из понятия, конечно, не дедуцируются индивидуальные вещи, в том смысле как это практиковалось в рационалистических системах немецкого идеализма, но это возражение было в корне ошибочным, если полагать, что индивидуальное вообще недоступно никакому познанию, что оно вообще иррационально. Индивидуальное никоим образом нельзя себе представить, как только индивидуальное. Абсолютно индивидуального вообще не существует. Если мы будем рассматривать какие-либо индивидуальные явления, все равно, будет ли то перо, которым я пишу, или какое-либо историческое лицо, скажем, Наполеон, то в обоих случаях в этих индивидуальных предметах далеко не все будет индивидуальным: они будут иметь в себе очень много общего. Можно признать, что каждый

индивидуальный предмет в каждую минуту своего существования другой, индивидуальный предмет в каждый миг своего существования индивидуален, тем не менее мы можем говорить об общих типических чертах для этого предмета. Наполеон имел сложную, богатую событиями карьеру; его живая индивидуальность каждый раз по-своему находила выражение в этих событиях. Когда мы их внимательно изучаем, у нас складывается общий образ Наполеона, который может явиться предметом рассмотрения историка. Индивидуальное, на этом основании, вовсе не противоположно общему, скорее, наоборот, индивидуальное не может быть констатировано без общего; не только общее находит свое выражение в индивидуальном, но и индивидуальное не может быть осознано вне своей связи с общим. Оно становится расплывчатым, хаотическим, слишком импрессионистическим. В этом смысле крайне показательны ошибки, которые делает современная историческая школа политической экономии, которая хочет остаться при одном описании и воздерживается от каких-либо теоретических выводов.

Подобное описание не может быть с успехом выполнено, научный анализ каждого явления предполагает наличие той или иной общей теории, потому нельзя быть только историком в политической экономии, не будучи в то же время и теоретиком.

До сих пор, разбирая проблему историзма, я брал ее только с методологической стороны, но самую методологию нельзя рассматривать отторгнутой от общих философских точек зрения. Как раз в данном случае можно показать, что диалектический подход к истории теснейшим образом связан с диалектическим материализмом.

Историзм Гегеля, если его продумать до конца, обращается в антиисторизм. Действительная история людей у него заменена тем, что Маркс назвал священной историей идей. История у Гегеля развертывается в ряде категорий, которые образуют в целом полноту идеи. Абсолютная идея развернута в этих категориях и в них пребывает. Тревога и беспокойство находят в ней свое успокоение. Движение обращается в покой.

В сущности, у Гегеля мы не имеем подлинного движения, мы имеем лишь отвлеченные формулы движения. Под-

линная история находится в реальном движении и изменении. В этом случае задача мысли будет состоять не в том, чтобы создавать абстрактные законы. Подлинная историческая мысль должна быть конкретной.

КОНКРЕТНАЯ МЫСЛЬ.

I. Анализ и отвлечение.

Выше мы видели, каким образом возникает метафизическое мышление. Человеческая мысль есть отражение действительных процессов в природе и общественных отношениях. Чтобы разобраться в «бесконечном сплетении соединений и взаимодействий», чтобы познать «частности», как говорит Энгельс, этих процессов, необходимо извлекать их из естественной и исторической связи и исследовать каждую порознь. Словом, для того, чтобы наши понятия приобрели ясность и точность, необходима аналитическая, расчленяющая работа мысли. Разложение природы на ее составные части было основным условием гигантского прогресса, который принесли последние четыре столетия в деле познания природы.

Однако, на ряду с положительной стороной, анализ имел и отрицательную Результаты анализа, — отвлеченности от непосредственного целостного процесса, рассматривались в их обособленности, вне общей их связи. Так возникала «специфическая ограниченность» последних столетий, «метафизический образ мышления».

В недавно изданной книге «Диалектика природы» Энгельс ведет энергичную полемику против этой метафизики в положительной науке. Естествознание имеет содержанием и предметом своим естественные процессы, но благодаря форме своего мышления и укоренившемуся методу оно бессильно отразить в точности диалектику, присущую явлениям природы Поэтому современное естествознание впадает в ряд ошибок, от которых оно могло бы легко избавиться, если бы придерживалось более строгого научного метода.

К чему этот метафизический метод приводит в политической экономии, всего легче убедиться на критическом

разборе учения Прудона в «Нищете философии» Карла Маркса.

Прудон, — говорит Маркс, — по недостатку исторических познаний не увидел, что люди развивают свои производственные отношения между собой и что способ этих отношений неизбежно изменяется вместе с изменением и ростом этих отношений и производственных способностей. Прудон не увидел, что экономические категории представляют лишь абстракцию этих реальных отношений и что истинными они являются, лишь поскольку существуют эти отношения. Прудон таким образом изолирует экономические категории от реальных производственных отношений, и потому экономические категории превращаются у него в вечные законы, а не законы исторические, являющиеся законами лишь для известного исторического развития, для развития, определенного производительными силами. Благодаря этой ошибке отношение между реальностью и категориями радикально меняется: действительность превращается в воплощение абстракции, и абстрактные категории наделяются вечным непреходящим бытием. «Экономические отношения, рассматриваемые как категории, представляются г. Прудону вечными формулами, не имеющими ни начала, ни прогресса».

Подобный метод препятствует понять ближе самый предмет; анализ, приводящий к абстракциям, кристаллизующимся в вечные категории, дает не обогащение, а оскудение мысли, ведет к смешению идей и вещей («Н. Ф.», XVIII). Маркс это очень ясно показывает на ряде примеров трактовки экономических вопросов Прудоном.

«Для Прудона разделение труда очень простая вещь,— пишет Маркс.—Но разве кастовый строй не представляет известного разделения труда? А разве цеховой строй не был другим разделением труда? А разделение труда при мануфактурном строе, начавшемся в Англии в середине XVII века и закончившемся там в конце XVIII века, не является ли оно чем-то совершенно отличным от разделения труда, которое принесла с собою крупная промышленность современной индустрии?»

«Г. Прудон до такой степени далек от истины, что он упускает сделать даже то, что делают непросвещенные эко-

номисты. Говоря о разделении труда, он не чувствует потребности сказать вам о мировом рынке. Но что же? Разве разделение труда в XIV и XV веке, когда еще не было колоний, когда Америка еще не существовала для Европы, когда Восточная Азия существовала для нее только через посредство Константинополя, разве разделение труда в то время не должно было целиком и вполне отличаться от разделения труда в XVII в., когда уже развились колонии?» («Н. Ф.», стр. 19). Нельзя определить и понять самую простую экономическую категорию вне ее связи с целым рядом производственных, хозяйственных и технических явлений, вне этой связи отвлеченные понятия становятся совершенно пустыми, как это мы видели при разборе учения формальной логики о понятии.

Эта критика отвлеченного метода и противопоставление ему требований конкретного мышления приводит нас к весьма важному методологическому вопросу об отношении анализа к диалектике. Аналитическая работа мысли совершенно необходима для образования ясных и отчетливых понятий о действительности, но в то же время как будто неизбежно приводит к абстракциям и, следовательно, к метафизическому образу мышления. Необходимо понять анализ, как момент диалектики. Это может быть сделано только в том случае, когда мы поймем самую природу диалектической мысли, как конкретный анализ.

Основы для диалектического понимания анализа прочно заложены Гегелем во второй части «Логики» (в учении о сущности). Гегель показывает, что обычный метод анализа, который приводит к изолированию результатов анализа, должен быть существенным образом изменен. Каждый элемент анализа может быть понят через свое отношение к другим моментам и вне этой связи теряет всякий смысл. Это доказательство у Гегеля, носит крайне искусственный и порой темный характер. Эта часть логики Гегеля является одной из самых трудных, и в то же время она справедливо очень высоко ценилась Энгельсом.

Если мы попытаемся в кратких словах резюмировать рассуждения Гегеля, то мы придем к следующему выводу.

Обычно, когда мы аналитически рассматриваем предметы мысли, находящиеся в определенном отношении друг к

другу, мы различаем 1) предметы, находящиеся в этом отношении, и 2) само это отношение. Или, говоря иными словами: 1) то, что соотносится в отношении, и 2) само отношение.

Так, например, если мы знаем двух людей, первый из которых является отцом, а второй сыном первого, то в этом отношении отцовства и сыновства все же самостоятельно существуют как отец, так и сын Отец может умереть, но сын тем не менее останется жить, и, обратно, сын может погибнуть, а отец остаться жить. Само отношение исчезло, но то, что соотносится в этом отношении, может не исчезнуть.

По мнению Гегеля, такое понимание неправильно. Отношение не может быть изолировано от того, что в этом отношении соотносится. То, что существует, находясь в определенном отношении к другому, перестает существовать, раз исчезло само это отношение. Выражаясь на вычурном языке Гегеля, мы должны будем сказать: «рефлексия в себе есть в то же время рефлексия в другом».

Разбор некоторых примеров рассуждения Гегеля легко может вскрыть глубокую справедливость этого парадоксального на первый взгляд положения.

В особенности это ясно на примере отношения части к целому Целое состоит из частей, и поэтому совершенно очевидно, что целое исчезает при исчезновении всех составляющих его частей. Целое не может ни быть, ни мыслиться вне и независимо от частей. Менее ясно обратное отношение, привычка аналитического мышления заставляет нас думать, что части могут существовать независимо от целого. Часы, например, могут быть разобраны на колесики и винтики, часы, как целое, перестают существовать, но части остаются, и при желании мы можем вновь собрать из них часы—целое. Машины, обычно, приходят к нам из-за границы в разобранном виде, они собираются, «монтируются» на месте. Части как будто существуют независимо от целого.

Однако легко показать ошибочность такого взгляда. На самом деле отдельные части машины могли получить свою форму только потому, что они являются частями целой машины, частями, пригнанными друг к другу. Потому они и могут быть собраны вместе, что они были сконструированы именно как части целой машины. Работающий механизм

требует определенного передаточного механизма, одна шестерня не может работать без другой и т. д. Части машины не могут существовать без целой машины.

Еще легче то же самое можно наблюдать на отношении части к целому в живом организме Живой организм не может существовать без определенных частей: человеку достаточно отрубить голову, чтобы он умер. Точно так же часть организма не может существовать вне связи с целым организмом. Отрубленный палец коренным образом отличается от живого пальца

Эта взаимная зависимость, столь наглядная в отношении между частью и целым, расширяется у Гегеля и получает окончательное обобщение в конце II части его «Логики»: все находится в взаимодействии, поэтому нельзя ничего выделить из живого контекста действительности; напрасно, например, мы будем противопоставлять причину следствиям; всякая причина в свою очередь является следствием, всякое следствие является причиной.

Следовательно, можно и нужно различать анализ от абстракции, анализ может не переходить в абстракцию и быть конкретным. Анализ, расчленяя целое, может в то же время вновь возвратить нас к целому, это делается тогда, когда продукты анализа понимаются как моменты целого, которые не могут существовать самостоятельно; такого рода анализ не только разъединяет, но и соединяет, указывает на взаимную связь моментов, на различные «опосредствования», как говорит Гегель. Это понимание анализа и критика абстрагирования глубоко вкоренены в диалектике. Последнее свое основание они находят в понимании тождества и противоречия.

В основе анализа отвлеченного понятия, как это говорит Гегель («Логика», ч. III, стр. 169), лежит «тождество отвлеченной абстракции». Поэтому для односторонне-понятого анализа «переход в другое», «связь различного» исключены и находятся вне сферы его деятельности. «Но,—продолжает Гегель,—при ближайшем рассмотрении аналитического познания оказывается, что оно начинается с некоего предполагаемого . конкретного предмета, все равно, дан ли он уже готовый для представления или как некоторая задача...».

Правильно понятый анализ ведет от непосредственности к опосредствованию, от «непосредственного тождества к различию». «Аналитическое останавливается в своей деятельности вообще на определениях, поскольку они относятся к себе самим Но через свою определенность они по существу имеют также то свойство, что они относятся к некоторому другому».

Эти простые соображения Гегеля имеют практически весьма большое значение. Мы повседневно в своей практической работе принуждены заниматься анализом анализировать задачи, нам поставленные, планы, которые нам необходимо выработать Слишком часто наш анализ принимает форму отвлеченную и теряет форму анализа конкретного. Мы думаем, что достигнем большей отчетливости и ясности в мышлении, если изолируем изучаемое явление от окружающего, если мы извлечем его из живого тела целого, в котором оно дано, если будем рассматривать его в «чистом» виде Однако легко показать, что, идя по этому пути, мы неизбежно наткнемся на ряд противоречий, из которых можно будет выбраться только в том случае, если мы анализ отвлеченный заменим анализом конкретным.

Практическое применение диалектически понятого анализа всего яснее можно видеть на одном примере, именно в речи В. И. Ленина о профсоюзах и в примыкающих к этой речи работах его. Здесь мы имеем весьма резкую полемику против отвлеченного мышления, с одной стороны, и выяснение значения различных опосредствований в конкретном анализе.

Ленин видит коренную неправильность тов. Троцкого в том, что он все время говорит «в принципе» об общем «принципе». «У него во всех тезисах речь идет с точки зрения общего принципа». По мнению Ленина, такая постановка коренным образом неправильна. «Тов. Троцкий тащит партию и советскую власть назад, ставя принципиальный вопрос теперь. В Смольном мы калякали о принципах, и, несомненно, больше, чем следовало». Тов. Троцкий говорит о рабочем государстве. «Это ошибка,— возражает на это Ленин, — рабочее государство есть абстракция. На деле мы имеем рабочее государство, во-первых, с теми особенностями, что в

стране преобладают не рабочие, а крестьяне, и, во-вторых, рабочее государство с бюрократическим извращением»

Если стать на отвлеченную точку зрения тов. Троцкого, тогда выйдет, что защита материальных и духовных интересов рабочего класса не есть роль профсоюзов в рабочем государстве.

По Ленину же, «теперешнее государство таково, что поголовно организованный пролетариат защищать себя должен, а мы должны эти рабочие организации использовать для защиты рабочих от своего государства и для защиты рабочими нашего государства». Конкретный анализ условий работ профсоюзных организаций привел к тезису, диаметрально противоположному отвлеченному выводу т. Троцкого.

Абстракция противоречит действительности, конкретный вывод противоречит абстрактной теории, — в этом нет ничего удивительного, это следствие диалектического анализа. Ведь всякий отвлеченно-верный закон в конкретной действительности отменяется и изменяется действием ряда других законов.

Конкретная действительность имеет множество определений, каждое из которых отменяет другое. В главе о выводе мы видели, к каким противоречиям приводит отвлеченная аргументация. Рассуждая отвлеченно, мы можем сделать следующий вывод: стена синяя потому только, что выкрашена в синюю краску. Отвлеченно это совершенно правильно: однако, в действительности, стена может оказаться и зеленой, в том случае, например, если она раньше была выкрашена в желтый цвет.

Рассмотрение любого закона приводит нас к этому Закон инерции имеет универсальное значение, тем не менее в каждодневном опыте мы наблюдаем, что бросаемое тело не летит в бесконечность, а падает на землю в небольшом, сравнительно, расстоянии. Действие закона инерции отменено действием закона притяжения к земле. «В формальной логике, — говорит Ленин, — берутся два или более различных определений и соединяются вместе совершенно случайно, мы получаем эклектическое определение, указывающее на разные стороны предмета и только.

Логика диалектическая требует, чтобы мы шли дальше. Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить

все его стороны, все связи и опосредствования. Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостерегает нас от ошибок и от омертвения».

II. Предмет конкретной мысли.

С точки зрения диалектики можно показать, что всякая отвлеченная мысль, с одной стороны, не реальна и противоречива, а с другой—пуста и бессодержательна.

В последнем мы могли уже убедиться из главы II, трактовавшей о принципе образования понятия в формальной логике. Мы видели: чем выше мы поднимаемся по ступеням отвлеченности, т.-е. чем отвлеченное дано нам в более чистом виде, тем более оскудевает всякое содержание.

«Метафизики напрасно думают, что, все более и более удаляясь от предмета, они приближаются к нему и к его пониманию» (Маркс. «Нищета философии», стр. 90). Но столь же легко показать, что отвлеченное понятие в силу необходимости противоречиво. Если я стану на какую-нибудь отвлеченную точку зрения, то я не смогу ничего и ни о чем высказать с точки зрения этой отвлеченной мысли. Я не могу ничего предицировать с отвлеченной точки зрения, не впадая в противоречие. Если я имею некое *А*, то я не могу высказать это *А* ни о чем.

Предположим, что я хочу высказать некоторое отвлеченное понятие, например: «тяжесть», «белизна», о каком-нибудь конкретном предмете — допустим, о листе бумаги. На первый взгляд кажется, что я могу сказать, что эта бумага бела, что она имеет определенный вес.

Мы легко производим подобные суждения, не отдавая себе отчета в некоторых логических трудностях, имеющихся здесь на-лицо.

Назовем понятие «белое» буквой *А*, тогда бумагу придется обозначить символом не-*А*. Ведь совершенно очевидно, что бумага есть бумага, а белое есть белое. Как же я могу сказать, что бумага белая, ведь это будет противоречием, это будет предицированием определенного *А* относительно не менее определенного не-*А*.

Эти рассуждения могут показаться какой-то софистикой, однако последней здесь нет ни в малейшей степени. Не забудем только, что в основе отвлеченности лежит фор-

мальное тождество, что форма тождества приводит к отвлечениям и бессодержательному *А*, которое равно *А*. С точки зрения отвлеченной возможны только тождественные суждения. Серебро есть серебро, металл есть металл. Для того, чтобы сказать, что серебро есть металл, я должен отказаться от отвлеченной точки зрения, признать возможность «единства» противоположных определений, в чем Гегель видит сущность конкретного мышления

Однако, преодоление отвлеченной точки зрения далеко еще не решает вопроса о конкретности мысли. Можно сказать, что требование конкретности совершенно по-новому ориентирует всю логическую проблему. Мы хорошо должны осознать все ее трудности. Здесь опять обнаружится, что диалектический метод теснейшим образом связан с системой, проблема конкретности решается в идеалистической философии совершенно иначе, чем в материализме.

Прежде всего нужно ясно видеть главную трудность в утверждении конкретной мысли. На первый взгляд может казаться, что такой мысли вообще не может существовать, что мысль не может стать конкретной. Всякое знание выражается в общих законах и другого знания не может быть Нет анатомии, которая изучала бы строение тела отдельного человека, нет такой ботаники, которая изучала бы данное растение. Если я спрошу себя, что такое карандаш, который я держу в руке, я должен буду ответить, что карандаш — нечто геометрическое, поскольку он занимает известное пространство, нечто физическое, поскольку это пространство наполнено материей, нечто химическое, поскольку эта материя состоит из определенных элементов, нечто историческое, поскольку этот карандаш мог возникнуть только на определенной стадии общественного развития, и т. д. Если попытаться выразить, что такое конкретный карандаш, в формуле, то мы будем иметь бесконечное уравнение: *А* есть $P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P...$

Конкретный карандаш, кажется, будет недосягаемым для нашей мысли.

На подобных соображениях основана критика отвлеченного метода в немецкой идеалистической философии. Канту принадлежит тезис, который он доказывает в «Критике чистого разума», что вещь в себе есть п р е д е л ь н о е понятие.

Опытное познание может развиваться бесконечно, тем не менее оно никогда не может выразить, что такое есть вещь сама по себе.

Этот скептический результат критики Канта, однако, не удовлетворял его учеников, поэтому они пришли к совершенно иному пониманию конкретности.

Критика отвлеченной мысли принимает своеобразную форму в немецкой идеалистической философии, начиная с Фихте и кончая Гегелем.

Немецкие идеалисты исходили из противопоставления познающего субъекта познаваемому объекту. Если предмет мысли отличен от самой мысли, то конкретным, очевидно, будет сам предмет, а определения мысли осуждены остаться навсегда пустыми отвлеченностями; предмет мысли ускользает от познающего субъекта. Поэтому немецкие идеалисты думали, что признание объекта, противопоставляемого субъекту и от него независимого, ведет к скептицизму, к невозможности познания.

Для обоснования возможного познания немецкие идеалисты радикально изменили точку зрения. Они стали понимать познание, как процесс самосознания. В этом смысл и значение известной формулы: «Я есть Я». В самосознании мысль становится конкретной, ибо она относится не к чуждому ей объекту, а к самой себе; мысль, имеющая предметом мысль, теряет отвлеченный характер, она вновь обретает свой предмет.

Немецкий идеализм можно трактовать, как особую философию самосознания. У Гегеля эта философия получает окончательную формулировку. Его «Логика» начинается (в «Энциклопедии») характеристикой различных отношений мысли к действительности. Гегель хочет показать, что единственной правильной точкой зрения может быть признание тождества мысли и действительности. Самое оригинальное и вместе с тем самое ценное в этой философии самосознания заключается в том, что познание понято, как активное начало. Самосознание не совпадает с вещью в ее обычном понимании, самосознание есть процесс, самосознание осуществляется в акте самосознания. Этот акт есть в одно и то же время действие и мысль.

На всякие лады Фихте старший на протяжении всех своих сочинений не перестает повторять эту мысль. Самосознание развертывается в ряде актов, полаганий, в ряде действий. Формула «Я есть Я» тем и отличается от формулы «закона тождества»—«А есть А», что последнее является лишь абстракцией от того действия, через которое осуществляется самосознание.

Немецкая идеалистическая философия твердо усвоила это основное учение Фихте. Не то или иное содержание мысли является предметом, а самый процесс мысли, в соответствии с этим идея теоретическая непосредственно переходит в идею практическую. «Идея, поскольку понятие определенно, как в себе и для себя, для себя есть практическая идея, действие», говорит Гегель

Очень хорошо разъясняется смысл этого перехода от теоретической идеи к идее практической у Куно Фишер («Гегель», т VIII, стр. 585)

«Идеи истины есть знание мира, каков он есть в действительности; действительность, понятая так, как логика взяла и установила это понятие. Поистине мир никогда не готов и не закончен, а находится в постоянном развитии, цель которого содержится и заключается в нем самом. Задача мира входят также и в его действительность и притом в высшем смысле этого слова. Долженствование входит в его бытие. То, чем он будет и должен быть, глубоко обосновано в том, чем он был и есть. Поэтому идея добра тождественна с идеей истины».

Это весьма правильное истолкование Гегеля показывает, что основы научного социализма уже заложены в диалектике Гегеля. «То, чем мир будет и должен быть, глубоко обосновано в том, чем он был и есть».

Поэтому Маркс в своих тезисах о Фейербахе хвалит идеализм Гегеля за то, что он подчеркнул деятельную сторону в противоположность материализму XVIII века.

Материалистическая диалектика не могла остаться при том определении конкретности, которое мы имеем у Гегеля.

В системе идеализма у Гегеля мысль не была конкретна; хотя чистое самосознание и было деятельностью и могло рассматриваться как ряд актов полагания и противополагания, однако эта деятельность все же оставалась отвлечен-

ной, не была конкретной «человеческой деятельностью». Материалистическая мысль не могла удовлетвориться деятельностью чистого самосознания.

Освобождающий шаг был сделан, когда самосознание стало объясняться через условия человеческого существования. Родоначальником этого материалистического взгляда следует считать Фейербаха, который развил его применительно к религии в своей книге «Сущность христианства» Фейербах доказывает в ней, что небесные существа—только создание религиозной фантазии, фантастические отражения человеческого существа. Кроме человека и природы не существует ничего.

Однако, тот шаг вперед, который Фейербах сделал по направлению к конкретности, являлся в то же время и шагом назад. «Все отношения между людьми имеют в его глазах только одну сторону — нравственность», пишет Энгельс («Фейербах», стр. 51). У Гегеля этика или учение о нравственности есть философия права и обнимает 1) отвлеченное право, 2) мораль, бытовые нравственные устои, к которым относится семья, гражданское общество, государство. Фейербах же ни единым словом не упоминает об окружающем человека мире, и потому его «человек» остается тем же отвлеченным человеком, который фигурирует в религии.

Человек Фейербаха живет не в действительном, исторически развившемся и исторически оправданном мире.

Словом, человек Фейербаха столь же отвлеченен, как и самосознание Гегеля. «Фейербах не нашел дороги, ведшей из царства столь ненавистной ему отвлеченности в живой действительный мир. Он крепко хватается за природу и за человека. Но и природа и человек остаются у него пустыми словами. Он не может сказать что-либо определенное ни о действительной природе, ни о человеке». Этой критикой Фейербаха намечается и новое понимание конкретности. Чтобы перейти от фейербаховского отвлеченного человека к действительным живым людям, необходимо было изучить их в их исторических действиях. Проблема конкретной мысли, поставленная Гегелем, решается на почве исторического материализма.

Маркс в своих тезисах о Фейербахе говорит: «Фейербах не доходит до взгляда на человеческую деятельность, как

на конкретную деятельность. Вот почему в «Сущности христианства» он рассматривает, как истинно человеческую деятельность, только деятельность теоретическую, между тем как практика понимается и изображается там лишь в грязно-жидовской форме своего проявления, вот почему также он не понимает значения «революционной» практически-критической деятельности».

Эта критика конкретности в идеалистической философии вполне подготовляет положительные решения этой проблемы в пределах материалистической диалектики.

Конкретным становится познание, если оно направлено на «предметную» деятельность. Проблема реалистического познания есть по существу вопрос практический. «Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто-схоластический вопрос».

Это существенным образом меняет теоретико-познавательную позицию диалектического материализма. В материализме XVIII в. предмет был дан через ощущение, сама же работа мысли сводилась к анализу. Это было чисто-теоретическое отношение мысли к предмету, в диалектическом же материализме предмет дан не только теоретически, а и практически, или, как говорит Маркс, «мир конкретных явлений следует представлять себе в виде конкретной практической деятельности».

Понимание опыта как практической, конкретной, человеческой деятельности дает объективность познанию, и сама теория понимается как руководство к действию. Опыт, понятый, как практический опыт, имеет в себе момент взаимодействия между человеком и природой: такой опыт не разъединяет познающего от познаваемого, а напротив, их соединяет [1]).

Материалистическая диалектика в последнем своем основании теснейшим образом связана с гуманизмом Маркса. Этот гуманизм существенно дополняет гуманизм XVIII в. Гуманизм XVIII века рассматривал «человека» как часть природы, люди представляют собой продукт обстоятельств и

---

[1]) Софизм идеалистической философии состоит в том, что ощущение принимается не за связь сознания с внешним миром, а за перегородку, стену, отделяющую познание от внешнего мира (Ленин)

воспитания; изменившиеся люди являются продуктом изменившихся обстоятельств и другого воспитания.

По Марксу же, который понимает опыт не пассивно, а активно, обстоятельства изменяются людьми или, как говорит Маркс, «воспитатель сам должен быть воспитан»

Последнее основание диалектической логики лежит в диалектическом отношении человека к природе. Диалектическая мысль является осознанием этого отношения.

ДИАЛЕКТИКА И ПРАКТИКА

Наше учение есть руководство к действиям, говорил Энгельс В предыдущей главе мы видели, насколько это положение вытекает из самой сущности диалектического метода Уже у Гегеля идея теоретическая не может быть понята вне идеи практической. У Маркса практика является критерием достоверности, и чистое теоретическое знание объявляется схоластикой.

В литературе по марксизму многократно подчеркивалось это характерное свойство диалектической мысли, его действенный практический характер.

Обычно люди практические несколько подозрительно относятся к теории; теория говорит одно, а практика — другое, она вносит в теорию существеннейшие поправки. Это недовольство теорией, недоверие к ней в известной мере вполне обосновано Слишком часто теория преподносилась и до сих пор еще преподносится в отвлеченной, мало конкретной форме Современная наука, как мы видели, далеко не сполна отрешилась от метафизического образа мышления. Отсюда понятно, почему практики не доверяют теоретическим рассуждениям.

Но при диалектической проработке знаний, когда основное требование исполнено и мысль стала конкретной, разрыв между практикой и теорией невозможен. Ошибки практические в то же время являются и ошибками теоретическими Практика должна быть основана на теории; социализм, как задача практическая, превращается в научный социализм. Поэтому проверка знания практикой в диалектике не ведет к умалению знания, напротив, только основанное на практике знание получает твердую опору, и значение его не может быть умалено.

В особенности Ленин неоднократно указывал на значение революционной теории для революционной практики. «Без революционной теории не может быть революционного движения» (V, стр. 134). «Теоретическая работа марксизма, ее углубление и расширение предписываются не настроением тех или иных лиц, не увлечением отдельных лиц, групп и даже не только внешними политическими условиями, которые многих осудили на отстранение от практики, а всем объективным положением вещей в стране Когда массы переживают новый и невиданно богатый опыт непосредственно-революционной борьбы, тогда теоретическая борьба за революционное миросозерцание, за революционный марксизм становится лозунгом дня».

Несмотря на убедительность этих положений, тем не менее именно диалектический подход к непосредственным практическим задачам затрудняет всего больше. Те или иные теоретические положения прорабатываются диалектически сравнительно легко, в особенности в тех случаях, где уже фундамент заложен в работах Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина. Но когда приходится сталкиваться с мелочными на первый взгляд, но в то же время необходимыми вопросами, выдвигаемыми самой жизнью, тогда диалектика кажется многим слишком научным, слишком громоздким аппаратом, тогда полагаются на здравый смысл и на революционный инстинкт, что, конечно, неминуемо ведет к ряду ошибок.

Показать значение диалектического метода при практической повседневной работе с достаточной полнотой — задача слишком обширная. Всего легче это сделать применительно к одной области — к революционной тактике, ибо здесь этот вопрос достаточно освещен в сочинениях Ленина. Своеобразие ленинской тактики, которую не понимали порой даже лица, стоявшие весьма близко к Ленину, состоит главным образом в том, что тактика Ленина основана на диалектике. Диалектика сообщала ленинской тактике максимальную последовательность, с одной стороны, и максимальную маневренность, с другой. В настоящее время можно считать вполне выясненным, что ленинизм есть последовательный марксизм (на что указывал всегда сам Ленин). В то же время, как мы видели, в своей тактике Ленин никогда не руководился абстрактными теориями, а всегда исходил из

конкретных условий борьбы, что сообщало большую гибкость тактике Ленина.

Диалектические основы тактики Ленина освещены всего лучше в трудах самого Ленина. Чаще и более всего тактику Ленина обвиняли в непоследовательности, в компромиссах разного рода, например, при заключении Брестского мира или при переходе на новую экономическую политику. С наибольшей полнотой Ленин выясняет теоретические основы своей тактики в небольшой работе «Детская болезнь левизны в коммунизме».

Ленин признавал компромиссы и подчеркивал даже их значение: «Если ты не сумеешь приспособиться, не расположен ползать на брюхе в грязи, тогда ты не революционер, а болтун, потому что другой дороги нет» (т. XV, стр. 135).

Отсюда вожди оппортунизма делали весьма недиалектический вывод: если большевикам разрешается такой-то компромисс, то почему же нам не разрешить любые компромиссы. На что Ленин отвечает:

«Наивные и совсем неопытные люди воображают, что достаточно признать допустимость компромиссов вообще, и будет стерта вообще всякая грань между оппортунизмом, с которым мы ведем и должны вести непримиримую борьбу, и революционным марксизмом и коммунизмом».

Социальная и политическая борьба понята Лениным как конкретный процесс, формы которого изменчивы, но «содержание работы» остается тождественным. Это содержание может и должно проявить себя в любой форме—«и новой и старой», может и должно переходить, победить, подчинить себе все формы не только новые, но и старые.

Всякие процессы, как мы видели выше, заключают в себе противоречия, всякая борьба развертывается и протекает в ряде кризисов или, говоря словами Ленина, в переходе одних форм борьбы в другие формы. Эта изменчивость форм борьбы характеризует диалектическую тактику, в то время как тактические антидиалектики пытаются в своей практике опереться на определенный рецепт и общие правила. «Сочинять такой рецепт или такое общее правило, которое годилось бы на всякие случаи, есть нелепость. Надо иметь собственную голову на плечах, чтобы в каждом отдельном случае уметь разобраться».

Конкретный анализ, который в себе, как мы видели выше, содержит основные моменты диалектики, является единственной основой, которая определяет то или иное вынесенное решение

Тактика Ленина достаточно освещена в современной литературе, и поэтому дольше останавливаться на ней в этой работе излишне [1]). Сложнее обстоит дело, если от вопросов тактических, связь которых с теорией весьма тесна, мы перейдем к более мелким практическим вопросам повседневной работы.

Область практики неисчерпаема, и ее невозможно уложить ни в какие теоретические схемы. Каждый вопрос требует особого подхода. Тем не менее всякая практическая работа, как бы элементарна она ни была, должна включать в себя следующие моменты: 1) определенный план, 2) определенную норму (пусть самую неустановившуюся), 3) учет.

Кроме того, всякая работа включает в себя момент управления, ибо человек работает не как автомат, а сознательно принимая известные решения в процессах своей работы и проводя их в жизнь. Эти понятия заимствованы из литературы по НОТ'у, особой дисциплины, в которой они с достаточной строгостью прорабатываются. Но их можно найти в любой работе, наименее методически проработанной.

Легко показать, что без всякого плана работать совершенно невозможно, точно так же нельзя работать, никак не учитывая результаты своего труда, т.-е. не наблюдая, что же выходит из него.

Стоит только продумать, хотя бы отчасти, эти элементы всякой практической работы, и мы тотчас же увидим их диалектическую природу.

Несмотря на то, что планирование играет в настоящее время очень большую роль в нашей современной жизни и каждый работник принужден работать так или иначе по разработанному плану, методология самой планировки далеко не разработана.

Обычно к планированию подходят чисто-аналитически. Предположим, заведующий фабрикой должен составить про-

[1]) «Ленин и Клаузевиц», статья Звенигородцева в сборн «Воинствующий материализм». — «Ленин и диалектика», журн «Под знаменем марксизма», 1924 г, кн. 8—9

изводственную программу, предположим, что он вполне обеспечен сырьем, а рынок требует товаров его фабрики. Как в этом случае будет разрабатывать свой план директор? Он прежде всего постарается установить пропускную способность машин и аппаратов каждого цеха, он займется производственной паспортизацией машин и аппаратов. Определив таким образом, что может ему дать каждый цех, он установит общий размер продукции, которую может ему дать вся фабрика. Производственная программа будет рассчитана из элементов производства, из пропускной способности каждой машины, каждого аппарата.

Я привел нарочно грубый пример, пример элементарный. На американских заводах план разрабатывается гораздо более детально; там учитывают все элементы работы вплоть до минут, которые необходимо затратить рабочему на то или другое движение. При всем том метод остается прежний; к планированию подходят аналитически, план устанавливается из элементов работы.

Однако легко показать, что подобное планирование должно оказаться неверным. При этом методе забывают, что работа по плану определенным образом отзывается на работе самих мастерских. Планирование упорядочивает работу мастерских; если раньше машины имели определенный простой, то при введении плана этот простой значительно уменьшается, машины могут дать значительно больше при слаженной работе; точно также и рабочие более не гуляют по мастерским; каждый знает свою работу, которую он кончает значительно скорее, чем раньше. План повысил производительность завода и, следовательно, производственная программа будет перерабатываться.

Техника планирования по аналитическому методу разработана наиболее совершенным образом в Америке и дала там наиболее ощутимые результаты. Если у нас переносятся те же методы аналитического планирования на нашу промышленность, то от этого зачастую возникают крупные ошибки. Наша промышленность строится, она возникает из полуразрушенного после мировой и гражданской войны состояния, поэтому найти в ней путем анализа элементы плана крайне трудно. Эти элементы не суть нечто постоянное,

но переменное. Эти элементы сами изменяются под влиянием планирования.

Этому методу планирования можно и должно противопоставить диалектический метод планирования, образец которого можно найти у Ленина в книге «Что делать».

В этой своей работе Ленин теснейшим образом соединяет план революционной борьбы с ее тактикой, в то время как обычно тактика мыслится только как исполнение ранее установленного плана, который не подвергается изменению от успехов или неуспехов тактики. Элементы плана и самый план находятся в теснейшем взаимодействии. Далее, само планирование может быть проведено только на основе раньше бывшего планирования. Спланировать производство, которое раньше шло без всякого плана, в высшей степени трудно. Работа по плану, как известно, требует «плановой дисциплины» со стороны всех участников работы. Планирование поэтому должно учитывать современное состояние производства и служить подходом к новому планированию, более точному, соответствующему новой постановке производства. Это наиболее ясно видно из практики планирования. В наших условиях планирование хозяйства встречается с хозяйством стихийным, беспланового, однако элементы планирующие все более и более берут верх над элементами стихийными. Само планирование на каждом этапе своего развития становится иным.

То же самое приходится сказать и об установлении норм работы. Нормы устанавливаются не только в нормировочных органах (в ТНБ заводов), каждый работник знает приблизительно срок, в который он может окончить данную работу, т.-е. имеет более и менее смутное понятие о норме труда, Установление нормы зачастую ведется также аналитическим путем. Стремятся разложить определенную работу машины или рабочего на определенные элементы и из этих элементов построить некоторую норму работы путем опущения некоторых лишних звеньев или путем замены одних элементов другими. Таким путем устанавливается норма, обычно она является малоудовлетворительной. Она или не дорабатывается при жестком нормировании, или перерабатывается (последнее в наших условиях случается чаще). Легко показать, почему это происходит. Нельзя установить норму работы изо-

лированно. Правильную норму можно установить только при нормальном ходе всего производства. Если у вас изменяется топливо (например, дрова березовые будут заменены дровами осиновыми), то и выработка печей, которые работают с этим топливом, будет иная. Если сырье не будет соответствовать определенному стандарту, определенным условиям (что в наших условиях случается особенно часто), то твердую норму выработать будет очень трудно. Установить аналитически норму можно только в том случае, если все производство в целом уже пронормировано; на норму нельзя, следовательно, смотреть как на нечто только постоянное, она в то же время является и изменчивой. Норма является величиной постоянной и переменной в одно и то же время. Природа нормы по самому существу диалектична.

К учету у нас точно так же привыкли подходить аналитически. Расходы рассматриваются по стадиям производства, с одной стороны, и по элементам отдельных стадий, с другой. Этим самым учетные данные располагаются с внешней стороны в определенный порядок и становятся легко обозримыми. Однако подобная система учета все же не достигает своей цели: цифры, хотя и расположенные в определенном порядке, остаются слепыми, не выражают сущности производства; с другой стороны, не увязываются зачастую между собою, и в том и в другом случае учет не достигает своей цели. Данные его не могут служить сигналами для действий, не показывают, какие меры должно принять заводоуправление.

Нужно признать, что к научной проработке учета у нас приступили очень недавно. «Логика» Гегеля, в особенности глава ее «О мере», могла бы здесь принести весьма большую пользу. Ведь совершенно очевидно, что цифры, указанные учетом, вовсе не являются чистыми количествами: это цифры, выражающие определенные качества поднятие или падение производительности труда, расходы на тепловое хозяйство и проч. В то же время эти цифры должны быть представлены так, чтобы от них можно было перейти к «сущности», в данном случае к самому производству, от состояния которого и зависят эти цифры.

Конечно, здесь не место давать логику учета, но можно с легкостью показать, что цифры учета, взятые вне связи

с планированием и нормированием, не могут дать нам ничего постоянного и положительного: это будут совершенно слепые, ничего не говорящие цифры. У нас, к сожалению, тратится огромное количество и времени и денег на постановку учета, научная проработка методологии учета могла бы дать здесь нам ценные результаты.

Я коснулся только некоторых сторон практической деятельности, чтобы показать, что может дать метод для практической работы. Читатель может убедиться в этом непосредственно на собственной работе: каждый работник подходит к своей работе так или иначе методически. Он анализирует вопрос, отданный ему для проработки; к сожалению, не всегда этот анализ бывает достаточно конкретным и, следовательно, диалектическим.

От этого страдают как критика, так и положительный вывод.

Критика, превращаясь в неопределенную критику, становится неделовой; говоря терминами диалектики, отрицание неопределенное не переходит в отрицание определенное. Вывод, останавливаясь на общих местах, лишен ясности, точности, полной определенности и, переданный для исполнения, вызывает со стороны исполнителя ряд недоумений Поэтому вывод подвергается всевозможным кривотолкам. Коллективная работа лишается четкости, определенности и не дает нужного эффекта.

И здесь приходится повторить, что было сказано раньше: нет ошибок практических, которые не были бы ошибками теоретическими.

БИБЛИОТЕКА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Предисловие 3

Противоречие.

I. Законы мышления 7
II. Тождество и движение 11
III. Учение Гегеля о противоречии 15
IV. Противоречие в материалистической диалектике 28

Понятие.

I. Учение о понятии в формальной логике 33
II. Учение о понятии Гегеля 37
III. Учение Маркса о понятии 42
IV. Идеализм и материализм в учении о понятии 51

Умозаключение.

I. Вывод в формальной логике 59
II. Индукция 64
III Гегель о выводе 68
IV. Опыт и теория 76
V. Вывод и историзм 87

Историзм.

I. Историзм реакционный 91
II. Историзм Гегеля 93
III. Революционное истолкование историзма 96
IV. История как предмет логики 101

Конкретная мысль.

I. Анализ и отвлечение 114
II. Предмет конкретной мысли 121

Диалектика и практика. 128